



ЛИТЕРАТУРНЫЙ АЛЬМАНАХ

ВЫПУСК 13

Киев - 2021

Дорогой Читатель! Перед тобой счастливый, тринадцатый номер альманаха «Каштановый Дом». Тринадцать лет для каштанового дерева – это ещё детство. Для литературного издания – солидный возраст, когда уже можно вспоминать поэтическое прошлое и с уверенностью смотреть в литературное будущее. В этом году наш каштановый дом не нарушил традиций, распахнув свои гостеприимные двери перед абсолютно разными жителями планеты Земля, объединёнными любовью к Киеву, Поэзии, Слову. И мы рады, что Ты среди нас.

ВЫБИТНАЯ КАРТОЧКА

ИВАН ЖДАНОВ
Москва

ВОСХОЖДЕНИЕ

Стоит шагнуть – попадёшь на вершину иглы,
впившейся в карту неведомой местности, где
вместо укола – родник, вырываясь из мглы,
жгучий кустарник к своей подгоняет воде.
Дальше, вокруг родника, деревень алтари,
чад бытия и пшеничного зноя дымы.
Там начинается воля избытком зари,
там обрывается карта в преддверии тьмы.
Всё это можно любить, не боясь потерять,
не потому ли, что картой поверить нельзя
эту безмерную, эту незримую пядь,
что воскресает, привычному сердцу грозя.
Здесь, что ни пядь под стопой, то вершина и та
обетованная ширь, от которой и свету темно:
никнет гора или рушится в ней высота,
или укол простирает на карте пятно.
Это – твоё восхождение, в котором возник
облик горы, превозмогшей себя навсегда.
Это Георгий своим отворяет копьём
пленный источник, питающий падшую плоть.
Отблеском битвы, как соль, проступает на нём
то, что тебя ни на миг не смогло побороть.
Стало быть, есть красота, пред которой в долгу
только она лишь сама как прибежище чар.
Всадник, заветную цель отдающий врагу,

непобедим, ибо призван растрачивать дар.
Здесь и теперь в этом времени вечности нет,
если, сражаясь, себя разрушает оно,
если уходит в песок, не стесняясь примет,
чуждое всем и для всех безупречно равно.
Не потому ли нацеленный в сердце укол
всей родословной своей воскресает в тебе,
взвесью цветов заливая пустующий дол,
вестью племён отзываясь в пропащей судьбе.
Это нельзя уберечь и нельзя утаить,
не промотав немоту на избыток вестей.
Значит, шагнуть – это свежий родник отворить,
значит, пойти – это стать мироколицей всей.

ДВЕРИ НАСТЕЖЬ

Лунный серп, затонувший в Море дождей,
задевает углами погибших людей,
безымянных, невозвращённых.
То, что их позабыли, не знают они.
По затерянным сёлам блуждают огни
и ночами шушат в телефонах.
Двери настезь, а надо бы их запереть,
да не знают, что некому здесь присмотреть
за покинутой ими вселенной.
И дорога, которой их увели,
так с тех пор и висит, не касаясь земли, –
только лунная пыль по колено.
Между ними и нами не ревность, а ров,
не порывистой немощи смутный покров,
а снотворная скорость забвенья.
Но душа из безвестности вновь говорит,
ореол превращается в серп и горит,
и шатается плач воскресенья.

ДО СЛОВА

Ты – сцена и актёр в пустующем театре.
Ты занавес сорвёшь, разыгрывая быт,
и пьяная тоска, горящая, как натрий,
в крошечной темноте по залу пролетит.
Тряпичные сады задушены плодами,
когда твою гортань перегибает речь
и жестяной погром тебя возносит в драме
высвечивать углы, разбойничать и жечь.
Но утлые гробы незаселённых кресел
не дрогнут, не вздохнут, не хрястнут пополам,
не двинутся туда, где ты опять развесил
краплёный кавардак, побитый молью хлам.
И вот уже партер перерастает в гору,
подножием своим полсцены охватив,
и, с этой немотой поддерживая ссору,
свой вечный монолог ты катишь, как Сизиф.
Ты – соловьиный свист, летящий рикошетом.
Как будто кто-то спит и видит этот сон,
где ты живёшь один, не ведая при этом,
что день за днём ты ждёшь, когда проснётся он.
И тень твоя пошла по городу нагая
цветочниц ублажать, размешивать гульбу.
Ей некогда скучать, она совсем другая,
ей не с чего дудеть с тобой в одну трубу.
И птица, и полёт в ней слиты воедино,
там свадьбами гудят и лёд, и холода,
там ждут отец и мать к себе немного сына,
а он глядит в окно и смотрит в никуда.
Но где-то в стороне от взгляда ледяного,
свивая в смерч твою горчичную тюрьму,
рождается впотьмах само собою слово
и тянется к тебе, и ты идёшь к нему.
Ты падаешь, как степь, изъеденная зноем,
и всадники толпой соскакивают с туч
и свежестью разят пространство раздвижное,
и крылья берегов обхватывают луч.

О, дайте только крест! И я вздохну от боли
и, продолжая дно, и берега крени,
я брошу балаган – и там, в открытом поле...
Но кто-то видит сон, и сон длинней меня.

КРЕЩЕНИЕ

Душа идёт на нет, и небо убывает,
и вот уже меж звёзд зажата пятерня.
О, как стряхнуть бы их! Меня никто не знает.
Меня как будто нет. Никто не ждёт меня.
Торопятся часы и падают со стуком.
Перевернуть бы дом – да не нащупать дна.
Меня как будто нет. Мой слух ушёл за звуком,
но звук пропал в ночи, лишая время сна.
Задрал бы он его, как волка на охоте,
и в сердце бы вонзил кровавые персты.
Но звук сошёл на нет. И вот на ровной ноте
он держится в тени, в провале пустоты.
Петляет листопад, втирается под кожу.
Такая тьма кругом, что век не разожмёшь.
Нащупать бы себя. Я слухом ночь тревожу,
но нет, притихла ночь, не верит ни на грош.
И где-то на земле до моего рожденья,
до крика моего в моё дыханье вник
послушный листопад, уже моё спасенье.
Меня на свете нет. Он знает: будет крик.
Не плещется вода, как будто к разговорам
полузаснувших рыб прислушиваясь, и
то льётся сквозь меня немеющим задором,
то пальцами грозит глухонемой крови.
Течёт во мне река, как кровь глухонемая.
Свершается обряд – в ней крестят листопад,
и он летит на слух, ещё не сознавая,
что слух сожжёт его и не вернёт назад.

МАСТЕР

Займи пазы отверстых голосов,
щелячи глотки, жаберные щели,
пока к стене твоей не прикипели
беззвучные проекции лесов!
Он замолчал и сумрак оглядел,
как гуртоправ, избавясь от наитья.
Как стеклодув, прощупал перекрытья.
И храм стоял, и цветоносил мел.
Он уходил, незрим и невесом,
но твёрже камня и теплее твари,
и пестрота живородящей хмари
его накрыла картой хромосом.
Так облекла литая скорлупа
его бессмертный выдох, что казалось –
внутри него уже не начиналась
и не кончалась звёздная толпа.
Вокруг него вздувались фонари,
в шарах стеклянных музыка летела,
пускал тромбон цветные пузыри,
и раздавалось где-то то и дело:
«...я ...задыхаюсь ...душно ...отвори...»
И небеса, разгорячённый дых,
ты приподнял, как никель испарений.
Вчера туман с верёвок бельевых
сносил кругами граммофонной лени
твой березняк на ножницы портних.

Мороз в конце зимы трясёт сухой гербарий
и гонит по стеклу безмолвный шум травы,
и млечные стволы хрипят в его пожаре,
на прорези пустот накладывая швы.

Мороз в конце зимы берёт немую спицу
и чертит на стекле окошка моего:
то выведет перо, но не покажет птицу,
то нарисует мех и больше ничего.
Что делать нам в стране, лишённой суесловья?
По несколько веков там длится взмах ветвей.
Мы смотрим сквозь себя, дыша его любовью,
и кормим с рук своих его немых зверей.
Мы входим в этот мир, не прогибая воду,
горящие огни, как стебли, разводя.
Там звёзды, как ручьи, текут по небосводу
и тянется сквозь лёд голодный гул дождя.
Пока слова и смех в беспечном разговоре –
лишь повод для него, пока мы учим снег
паденью с облаков, пока в древесном хоре,
как лёд, звенят шмели, пока вся жизнь навек
вдруг входит в этот миг неведомой тоскою,
и некуда идти, – что делать нам в плену
морозной тишины и в том глухом покое
безветренных лесов, клонящихся ко сну?

НИША И СТОЛП

Слепок стриженной липы обычной окажется нишей,
если только не входом туда, где простор каменеет,
или там погружается в гипс и становится тише
чей-то маленький быт и уже шевельнуться не смеет.
Словно с древа ходьбы обрывается лист онемевшей стопою,
словно липовый мёд, испаряясь подвальной извёсткой,
застилает твой путь, громоздя миражи пред тобою,
выползает из стен и в толпе расставляет присоски.
Сколько душ соблазнённых примерить пытается взглядом
эти нимбы святых и фуражек железные дуги,
чтобы только проверить, гордясь неприступным нарядом,
то ли это тавро, то ли кляп, то ли венчик заслуги.

Или чучело речи в развалинах телеканала,
или шкаф с барахлом, как симметрия с выбитым глазом,
или кафельный храм, или купол густого вокзала,
или масть, или честь, оснащённая противогазом.
Одноместный колпак, как гитарная радуга барда
или колокол братства с надтреснутой нотой в рыданье,
ветровое стекло, осенённое нимбом с кокардой
над стальными усами, проросшими всем в назиданье.
Не тайник, не тюрьма, не гнездо, не мешок, не могила –
это столб наизнанку, прожектор с обратным свечением,
западня слепоты, провиденья червячное рыло,
это ниша твоя, горизонт в переулке осеннем.
Не капкан, не доспех и не просто скелет насекомый –
это больше в тебе, чем снаружи,

и больше сегодня, чем было.

Ты стоишь на столбе, но не столпник, горящий в объёме,
ты открыт, но не виден, как будто тебя ослепило.
Так шагни в этот зев, затаивший последнее слово,
в этот ложный ответ на его же пустую загадку,
в этот лже-лабиринт и подобие вечного крова,
в этот свет-пересмешник, сведённый к нему остатку.
И царь-колокол там не звонит,

и царь-пушка, увы, не стреляет,

Медный всадник не страшен,

и всё потому, что пространство

канцелярски бесстрастно тебя под ответ подгоняет,
провоцируя зависть и гордый нарыв самозванства.
Ты способен извлечь доказательство права на дулю
самому бытию в виде царских родимых отметин,
словно ты – Себастьян, тот, что кожей выплёвывал пули,
ты соправен природе и этим себе незаметен.
Самовластный, как рекс или Каин с клеймом абсолюта,
приручённый ловушкой, избравший содом тяготенья,
ты живёшь, как мертвец, потому что позволил кому-то
убивать без разбора всё то, что претит прирученью.
Да, ты вышел нагим, но успел обрасти позолотой
ежедневной приязни, влюблённости в самоубийство.
Ты безумен, как тать, продырявивший бездну зевотой,
заполняемой наспех дурманящей страстью витийства.

И не думал о том тот, кто стену ломал на иконы,
что стена, как в размол, попадает в разменную кассу,
что её позолотой окрасится век похоронный,
век, что пишет быльём по крови, как маляр по левкасу.
Этой падшей стеной ты накрыт, как мудрец шлемофоном,
где, как тысячи ниш, осыпаются камешки свода
и шуршат, и из них в тяготенье своём неуклонном
вызревает стена или только пустая порода.

Расстояние между тобою и мной – это и есть ты,
и когда ты стоишь передо мной, рассуждая о том и о сём,
я как будто составлен тобой из осколков твоей немоты,
и ты смотришься в них и не видишь себя целиком.
Словно зеркало жаждой своей разрывает себя на куски
(это жажда назначит себя в соглядатаи разных сторон) –
так себя завершает в листве горемычное древо тоски,
чтобы множеством всем предугадывать ветра наклон,
чтобы петь, изъясняться, молчать и выслушивать всех,
самолётной инверсией плыть в плоскостях тишины, –
но блуждает в лесу неприкаянный горький орех,
словно он замурован бессонницей в близость войны.
Где он, рай с шалашом, на каком догорает воре?
Я же слеп для тебя, хоть и слеплен твоею рукой.
Холостая вода замоталась чалмой на горе,
и утробы пусты, как в безветрии парус какой.
Как частица твоя, я ревную тебя и ищу
воскресенья в тебе и боюсь – не сносить головы,
вот я вижу, что ты поднимаешь, как ревность, пращу,
паровозную перхоть сбивая с позорной листвы.
Словно ты повторяешь мой жест, обращённый к тебе,
так в бессмертном полёте безвестная птица крылом
ловит большее сердце, своей подчиняясь судьбе,
и становится небом, но не растворяется в нём.
Да, я связан с тобой расстоянием – и это закон,
разрешающий ревность как правду и волю твою.
Я бессмертен, пока я покорен, но не покорён,
потому что люблю, потому что люблю, потому что люблю.

Ты, смерть, красна не на миру, а в совести горячей.
Когда ты красным полотном взовьёшься надо мной
и я займусь твоим огнём навстречу тьме незрячей,
никто не скажет обо мне: и он нашёл покой.
Рванётся в сторону душа, и рябью шевельнётся
тысячелетняя река из человеческих глаз.
Я в этой ряби растворюсь, и ветер встрепенётся
в древесном шёпоте моём и вспомнится не раз.
Ты, смерть, красна или черна, не в этом вовсе дело, –
съедает мартовский туман последний мокрый снег.
И в смертном шёпоте моём уже не уцелело
ни слов для совести моей, ни берегов для рек.
А над оттаявшим прудом весна не городская,
на деревянном островке вчерашний снег уплыл.
Там, клюв упрятав под крыло, как будто замыкая
себя в осеннее кольцо, когда-то лебедь жил.
Я вспомнил лебедя, когда, себя превозмогая
и пряча губы в воротник, я думал о тебе.
Мне так хотелось умереть, исчезнуть, замыкая
в себе всё прошлое моё, тебя в моей судьбе.
О, если б вправду умереть пришлось мне в то ненастье,
то кто послушал бы меня и кто б сумел помочь
мне вытравить себя из глаз, пророчащих участие,
неумолимых, как и ты, и обращённых в ночь.
Всю память выжечь о себе, сгореть, лишиться крова.
Кричать: забудьте обо мне, меня на свете нет!
Что будет, если я умру? Меня оттуда снова,
оттуда вытащат опять просматривать на свет?
О, если б камни, что мои хранят прикосновенья
и в них живут, как в скорлупе, растаяли, как дым!
О, если б всё ушло со мной: вся память, все мгновенья,
в которых я тебя любил отчаяньем моим!
Где зеркало теперь моё? Бродячим отраженьем,
не находя ответных глаз, по городу бреду.
Грозит мне каждое окно моим прикосновеньем.
Мне страшно знать, что я себя нигде не обойду.

Я натыкаюсь на себя и там, где не был даже,
весь город мною заражён – повержен в колдовство.
Люблю, боюсь, зачем, кого – слова подобны краже.
Туман съедает мокрый снег, мне не спасти его.

АРЕСТОВАННЫЙ МИР

Я блуждал по запретным, опальным руинам,
где грохочет вразнос мемуарный подвал
и, кружа по железным подспудным вощинам,
пятый угол своим арестантам искал.
Арестанты мои – запрещённые страхи,
неиспытанной совести воры,
искуплений отсроченных сводни и свахи,
одинокства ширмы и шоры.
Арестанты-уродцы, причуды забвенья
и мутанты испуганной зги,
говорящей вины подставные мишени
и лишённые тыла враги.
И заблудшим убийствам даруя просторы,
неприкаянным войнам давая надел,
я, гонитель-чужак, на расправу нескорый,
отпустить их на волю свою не сумел.
Я их всех узаконил музейным поместьем,
в каталог арестантов отправил,
но для них я и сам нахожусь под арестом,
осуждённый без чести и правил.
Ничему в арестованном небе предела
не дано никогда обрести.
И какое там множество бед пролетело,
не узнают по срезу кости.
Но растянутый в вечности взрыв воскрешенья
водружает на плаху убийственный трон.
Проводник не даёт избежать продолженья
бесконечной истории после времён.

Западной и ловушек лихие подвохи
или минных полей очертанья –
это комья и гроздь разбитой эпохи,
заскорузлая кровь мирозданья.
Если б новь зародилась, и было б довольно
отереть от забвенья чело...
Но тогда почему воскрешение – больно,
почему воскресенье – светло?

ВЗГЛЯД

Был послан взгляд – и дерево застыло,
пчела внутри себя перелетела
через цветок, и, падая в себя,
вдруг хрустнул камень под ногой и смолк.
Там тишина нашла уединенье:
надрезана кора, но сок не каплет,
и яблоко надкусанное цело.
Внутри деревьев падает листва
на дно глазное, в ощущение снега,
где день и ночь зима, зима, зима.
В сугробах взгляда крылья насекомых,
и в яблоке румяно-ледяном,
как семечки, чернеет Млечный Путь.
Вокруг него оскомины парит,
и вместе с муравьиным осязаньем
она кольцо срывает со зрачка.
В воронке взгляда гибнет муравей,
в снегу сыпучем простирая лапки
к поверхности, которой больше нет.
Там нет меня. Над горизонтом слова
взойдут деревья и к нему примёрзнут –
я никогда их не смогу догнать.
Там тишина нашла уединенье,
а здесь играет в прятки сам с собою
тот, кто вернуть свой взгляд уже не в силах,
кто дереву не дал остаться прахом,
Иуды кровь почувствовав в стопе.

ДРЕВНИЙ (ПСЕВДОПРОРОК)

И посох вздыбится и прынет на царя,
замка венчального развявится прореха,
и своеволия развяжется потеха,
треща укорами и сварами горя?
Забудь, что с небом ты когда-то был на ты –
уже вот-вот веретено закружит пряжу,
пойдёт приказывать, сбирая на рубаху
парализующую кротость немоты.
И густопсовая зардеется парча
ещё неявными промоинами крови,
пророки в прошлое вперятся наготове
перепредсказывать и шкурничать сплеча.
Вторым пришествием отмеченный недуг
пройдёт дорогами Египта, Ниневи.
Нас могут вспомнить небеса ещё живые,
нас долго не было, но завершился круг.
Мы вровень с теми, для которых мы вверху
перед возможностью исчезнуть и продлиться,
кто мог воскреснуть, опоздает воплотиться
в тщете бесславия, как в свалке на духу.
Сопровождающий едва ли господин
обычной радости, любви обыкновенной.
Но посох вырвется и грянет по вселенной:
– Уйдите все! Теперь пойду один.

Любовь, как мышь летучая, скользит
в кромешной тьме среди тончайших струн,
связующих возлюбленных собою.
Здесь снегопада чуткий инструмент,
и чёрно-белых клавишей его
приятно вдруг увидеть мельтешенье.
Внутри рояля мы с тобой живём,
изклавишей и снега строим дом,

летучей мыши крылья нас укроют.
И, слава Богу, нет ещё окна –
пусть светятся миры и времена,
не знать бы их, они того не стоят.
Приятно исцелять и целовать,
быть целым и другого не желать,
но вспыхнет свет – и струны в звук вступают.
Задело их мышинное крыло,
теченье снегопада понесло,
в наш домик залетела окон стая.
Но хороша ошибками любовь.
От крыльев отслоились плоть и кровь,
теперь они лишь сны обозначают.
Любовь, как мышь летучая, снуёт,
к концу узор таинственный идёт –
то нотные значки для снегопада.
И чёрно-белых клавишей полёт
пока один вполголоса поёт
без музыки, которой нам не надо.

НЕРАЗМЕННОЕ НЕБО

Раздвигая созвездья, как воду над Рыбой ночной,
ты глядишь на меня, как охотник с игрушкой стальной,
направляющей шашки в бессвязной забаве ребёнка –
будто всё мирозданье – всего лишь черта горизонта,
за которым известно, что было и будет со мной.
На обочине неба, где нету ни пяди земли,
где немислим и свод, потому что его развели
со своим горизонтом, – вокруг только дно шаровое,
только всхлип бесконечный, как будто число даровое
набрело на себя и его удержать не смогли.
И я понял, как небо в себе пропадает – почти,
как синяк, как песок заповедный в последней горсти,
если нет и намёка земли под твоими ногами,
если сердце, смещённое дважды, кривясь между нами,
вырастает стеной, и её невозможно пройти.

На обочине неба, где твой затаён Козерог
в одиночной кошаре, как пленом объятый зверёк,
где Медведицы воз укатился в другие просторы,
заплетая созвездья распляской в чужие узоры,
мы стоим на пороге, не зная, что это порог.
Коготь Льва, осеняющий чашу разбитых Весов,
разлучает враждой достоверных, как ген, Близнецов –
разве что угадаешь в таком мукомольном угаре?
Это час после часа, поймавший себя на ударе
по стеклянной твердыне запёкшихся в хор голосов.
И тогда мы пойдём, соберёмся и свяжемся в круг,
горизонт вызывая из мрака сплетением рук,
и растянем на нём полотно или горб черепахи,
долгополой рекой укрепим и доверимся птахе,
и слонов тяготенья наймём для разгона разлук.
И по мере того как земля, расширяясь у ног,
будет снова цвести пересверками быстрых дорог,
мы увидим, что небо начнёт проявляться и длиться,
как ночной фотоснимок при свете живящей зарницы, –
мы увидим его и поймём, что и это порог.

ПАМЯТИ СЕСТРЫ

Область неразменного владенья:
облаков пернатая вода.
В тридевятом растворясь колене,
там сестра всё так же молода.
Обручённая с невинным роком,
не по мужу верная жена,
всю любовь, отмеренную сроком,
отдала вечности она.
Как была учительницей в школе,
так с тех пор мелок в её руке
троеперстием горит на воле,
что-то пишет на пустой доске.

То ли буквы непонятны, то ли
нестерпим для глаза их размах:
остаётся красный ветер в поле,
имя розы на его губах.
И в разломе символа-святыни
узнаётся зубчатый лесок:
то ли мел крошится, то ли иней,
то ли звёзды падают в песок.
Ты из тех пока что незнакомок,
для которых я неразличим.
У меня в руке другой обломок –
мы при встрече их соединим.

ХОЛМЫ

Этот холм в степи – неумышленно голый, –
это узел пространства, узилище свету.
И тревожится сердце, и ритм тяжёлый
так и сносит его. И ветра нету.
Череп из полыни как стон простора
выгоняют тропу, оглушают прелью.
И тропа просеивает щебень до сора
и становится пылью, влекомой целью.
И качается зной в монолитной дрёме
самоцветами ада в мареве этом,
и чем выше тропа, тем пыль невесомей
и срывается в воздух гнилушным светом.
И тот же холм в степи, крутой и голый,
и та же тропа проступает в бурьяне
и, взбираясь по круче в тоске весёлой,
растворяет щебень в сухом тумане.
Западает в песок и отвесной пылью
обрывается в воздух, такой же рваный,
монолитной трухой, и зноем, и гнилью –
только свет как будто другой и странный.
Или так показалось: ведь холм всё тот же –
где им тут, в пустоте, разойтись обоим?
И одна и та же – как кровь под кожей –
их руда топорщит своим жилобоем.

Уберу ли камень с холма, чтоб где-то
на другом холме опустело место,
или вырву цветок незрячего цвета,
словно чью-то ладонь отделяя от жеста,
или просто в песок поставлю ногу,
чтобы там, где камень исчез, забылся
и пропал цветок, негодный Богу,
отпечаток моей ступни проявился?
Но на склонах этих один заразный
выгорает песок в ослепшую груду.
Почему же свет осеняет разный
этот холм, помещённый нигде и всюду?
И ты видишь в себе, что здесь поминутно
совершается праздник и преступленье
и на казнь волокут тропую распутной,
начинается подвиг, длится мученье.
Он стоит, лицо закрывая руками,
в одиночестве смертном, один, убогий,
окружённый иудами и врагами,
исступлённой кровью горя в тревоге.
Или он – единственный здесь, и это
сознаётся им, несмотря на злобу,
несмотря на мёртвую маску света,
заскорузлость воли, ума хворобу?
Это было бы жертвой: то и другое,
подвиг – если он здесь одинок и страшен,
или праздник – когда под его рукою
оживает единственность толп и пашен.
Это жертва – и та и другая – в казни
обретает залог и долг продолженья.
Только свет надо всем излучается разный:
свет укора и праздничный свет искупленья.
Или чары потворства грозят любовью,
или молнии мечут бранные стяги,
или холм обряжают горючей кровью,
словно это письмо на обратной бумаге?

Ты, представший с лицом, закрытым руками,
опусти свои руки и дай очнуться
от твоей несвободы, вбитой веками!
Горек хлеб твой, и жертвы нельзя коснуться.

Это всего лишь щепоть пустоты,
это всего лишь чакона без скрипки –
ты меня встретишь подобьем улыбки,
словно стесняясь своей красоты.
Это из сказок, из тени степной
ветер приносит молчанье цикады,
ветер ночной, примиряющий взгляды
и наполняющий нас тишиной.
Я виноват или ты не права,
или вина без вины виновата –
стынет в ночи за грядкою Арбата
под мостовую сухая трава.
За руки, медленно, как по воде,
словно во тьму, осторожно ступая, –
так мы пойдём. И никто не узнает,
как мы ушли, не споткнувшись нигде.
Или в автобус гремящий войдём,
сядем куда-нибудь, глядя, как прежде,
в два одиноких стремленья к надежде –
это они проплывут за окном.
Это автобусный дым или чад
книжной, стальной, на колёсах цикады,
свет разрушающей, режущей взгляды
и отрезвляющей нас невпопад.
Мы ещё здесь или там, в стороне,
там, позади, на своей остановке?
Не продохнуть – бесполезны уловки –
щёлкну в пятак на замёрзшем окне.

ЮБИЛЕЙНЫЙ ТРИДЕСЯТИК

АНДРЕЙ ГРЯЗОВ
Киев

Вечность ветрено уносит
Миг, как крошку пирога,
Вечность тихо годы косит,
Собирая их в стога.
Тяжелы и невесомы,
По порядку, в аккурат...
Время сена и соломы,
Караваи круглых дат.

ИМЯ ЖЕНЩИНЫ

В генетическом инее
Или жаркой крови...
У любимой нет имени.
Ты её назови.
У любимой нет имени,
Хоть и много имён –
Только сильное-сильное
Чувство стран и времён.
Что живёт между вечностью
И огромным Ничем,
Между женской беспечностью
И вопросом «Зачем?».

Но услышишь: «Ищи меня!»
И найди, назови...
Сколько женщин без имени,
А имён без любви.

Пригласи меня в свой домик,
Беглой тенью по стене
Я скользну на подоконник,
Я приду к тебе во сне.
Сна тревожную природу
Буду тихо я следить...
И с лица твой свет, как воду,
Буду долго, долго пить.

АПОКА.УА

У Иры про эру спроси.
И про динозавра отпетого.
Последний рыбак в небеси.
Последний шахтёр у Ахметова.
У Евы про иву спроси,
Светящуюся купоросово,
Как крошкой урана в горсти
Наш крошка насытится досыта.
У Веры про веру спроси.
О чём же ещё горемычную?
Нам крылья мешают ползти
К ближайшему раю шашлычному,
Пропитанному коньяком,
С упавшими замертво звёздами,
Спроси и не будь дураком
Последним. Во имя – не созданных.

Стихи – вина. Поэзия – великое вранье.
В ней дремлет Бог,
И в ней резвятся черти.
Поэзия – жена.
Всю жизнь уходишь от неё.
И не уйдёшь. И даже после смерти.

ТИШИНА ЗАЗЕРКАЛЯ

I

Тишина зазеркалья расставит молчания ноты,
Что предшествуют «до» и кивают безропотно «си».
В бесконечности «ре» и в глумливости «фа», где фаготы
Отыграли своё, благодарно умолкнув «мерси».

Только в тонком «ми-ми» чей-то всхлип и ещё ожиданье,
Что за нотой молчанья начнётся иная земля.
Соль морей, соль людей и при-речная тихая тайна
Плюхнет жабой-царевной по самое верхнее «ля»!

II

Тишина зазеркалья расставит молчания знаки:
Не судить и не лгать за глаза или прямо в глаза.
Запрещённое слово, как взгляд обречённый собаки,
Взгляд, что больше, чем слово, –
желаньем хоть что-то сказать.

Запретительный знак: не кричать, не ворчать, не перечить,
Не злословить, не лстить, не молить и не перебивать.
Запретительный знак не на часть непослушную речи,
А на право иметь от рожденья любые права.

Тишина зазеркалья, прости́вшая слово ребёнку,
Вновь отнимет его, наложив круговую печать,
И научит однажды поэта молчать без умолку...
И научит, как Бог обо всём вслух сумел промолчать...

III

Тишина зазеркалья продолжит любые сказанья.
Многоточие – символ и рябь, за которой видны
Очертания снов и предательское ускользанье
Отражаемых лиц с той обратной, чужой, стороны.
Отражение тел, удлинённых а-ля Модильяни,
И других, наподобье восьмёрок песочных часов,
Где из сердца струятся какие-то ини и яни –
Генотипная горка и антагонизм полюсов.
Раздираема сущность, как сучность любого мужчины,
И козлячее бляенье женщин хвостатых пород,
Перемешано всё: доминанта домашней скотины
И стервятника плавный и лёгкий, прицельный полёт.
Отражения снов, продолженье легенды и мифа –
Это всё на потом. А пока – только ты, только ты...
В тишине зазеркалья – потомок секретного грифа,
Искажённый трудом подведения последней черты.

Рябина раздаёт себя по гроздьям,
И по снежинкам рыхлым – лёгкий снег,
Ночное небо раздаёт себя по звёздам,
А человек? Что человек?
По детям раздаёт себя и внукам,
Идущий по единственной стезе,
По клеткам раздаёт себя, по звукам,
По выдоху и маленькой слезе.

Долго мальчик белобрысый
На коленях по траве
Лазит, смотрит, ищет смысла
В непонятном муравье.
Что он может, что не может,
Отчего и почему?
И травинку так подложит,
Чтоб залез в ладонь к нему.
Мальчик смотрит, он не тронет:
Чист в познании своём,
Сам – у Бога на ладони,
С непонятным муравьём.

ЕЛЕНА ШЕЛКОВА

Киев

Поговори со мной, Язык,
Как говорил вчера.
Хор голосов, хор старых книг,
Мир пухом. Ни пера.

Прошедших-будущих времён
Колокола – по ком?
Большие люди в сто погон
Следят за языком.

Несётся с плахи голова
И разбивает нос.
И вот – доносятся слова,
И падают в донос.

Вот А сидит, и Б сидит.
Где рамы наши, мам?
Как прокурорский злой вердикт
Язык покажет нам...

Я буду гнать
Стихи,
Портвейн из груши,
Автомобиль
сквозь белые цветы.
Я буду согревать
дыханьем лужи,
В которых отразиться
можешь ты.

Я буду гнать
Коней
до самой Ниццы.
Галиматья в расцвете –
благодать.
Пусть лишь во сне
перехожу границы,
За сны мои
положено
сажать.

Я буду гнать
Пургу
от наших дочек,
Вязать стихи,
которые нельзя...
Гляди, уже
у стихотворных строчек
Нарочно
Отказали
Тормоза.

Я буду гнать,
Поэты ведь гонимы.
А не гоним –
Голимый лишь поэт.
Прогоним всех!
Прогоним, и Бог с ними...
Уйдёт,
Сказав,
Что больше
Бога
Нет.

Планету назови мою Печалье.
А на планете этой, как цветы,
Растут голубоглазые молчанья,
И пляшут, пляшут лунные коты.

Меня учила нежность быть спокойней
И провожать моё и не моё.
Счастливых поездов тебе, перонье,
Желает разбитное воронье.

Езжайте, поезда, не очень шибко.
Кондукторша, не будь в пути лиха.
Ты совершила грубую ошибку,
Богатого оставив жениха.

Пусть не заманят к морю крики чаек,
Не завлечёт прогулкой свет Венер.
Но если, вправду, золото – молчанье,
То я давно уже миллионер.

Это глупо и нелепо,
Я с ума сойти готов:
Васильки – осколки неба,
Слишком много васильков!
Словно ангел от печали
Стал крушить стекло небес.
И осколки опадали,
И вращались в поле, в лес.
Никогда спокойным не был.
Вижу синие поля.
Значит, поле – это небо?
Значит, был на небе я?
Значит, рвал я не цветочки,
Мастер васильковых дел,
А, дойдя до крайней точки,
Небо вновь собрать хотел?

АЛЕКСАНДРА ШАЛИНА
Киев

Это горе моё, и будет теперь со мной,
мне водить его на молитву и водопой,
мне знакомить его с другими в своём дворе:
– сколько вашему? – год.
– а нашему – в январе.
– только встало на лапы, часто ещё болит?
– каждый день, в ногах ложится, не ест, не спит,
приходили гости – скалилось из угла,
сбиралась в отпуск – вынести не смогла.

– не идите на поводу, покажите, что,
это горе – ваше, вовсе не вы – его,
приспособьте к своему распорядку дня,
вот моё уже подстроилось под меня,
стало меньше, гораздо тише себя ведёт,
есть надежда, что к июню совсем пройдёт.

Это горе моё, и я его так люблю,
я его балую, пестую, веселю,
потому что знаю, насколько большая честь
мне оказана в том, что мы друг у друга есть.

**посвящается моей бабушке.*

Нашепчу себя потихоньку, пока я та, кем я есть,
пока уместятся в двух словах
моё счастье и моё горе – простая весть,
облетев по кругу горы и острова,
приземлится на груди твоей – подхвати
дальше песню человеческого пути.

Всё, что было, нам с собою не унести,
а идти ещё и идти...

Между делом, когда разлаживается ряд,
когда женщины, зная больше, чем говорят,
на подол опускают руки,

мир стихает, сосредоточенный лишь на том,
как бессмертное время вьётся веретеном
на невидимой глазу скорости,
частоте – недоступной уху.

Кто уйдёт от меня, тому нет пути назад.
Вот стою: под ногами – степь, в голове – царьград,
бьются косноязычные колокола, звенят,
от затылка до лба разносится этот гул.

И казалось бы – слово вымолви, догони,
но пока в этом мире, объевшемся белены,
есть четыре спины – моих крепостных стены,
я стою на своём и двинуться не могу.

Ты же знаешь, я не стану тебя винить
ни в одном, ни в другом, ни в третьем. Покамест это
удивительное свойство апологета
никому не удавалось искоренить.

Я его лелею словно в яйце иглу,
на конце которой прячется смерть кощеева.
Потому что, если каждому по углу,
у кого бы мне самой попросить прощения.

ВЛАДИМИР ГУТКОВСКИЙ
Киев

ИЗ ДАВНЕГО АРХИВА

ПРОТОКА

1.

День без дождя. И то, хоть какая-то скидка.
И без того влаги в переизбытке.
Под порывами ветра
лес на том берегу расклеванной коркой
мелко дрожит. Так пульсирует жилка на горле
еле заметно.

Непритязателен вид на редкость.
Взгляду не во что упереться.
В смысле пятен, тонов, оттенков.
Как не хочется в это верить
под наползанье волны на берег,
припирающей к стенке.

Где ж позолота, сиянье, глянец?
Столько наврано про багрянец.
Без стыда, то есть без всякой меры.
Всё вокруг безнадежно тускло,
как и сопутствующие чувства.
Осень ставит на серый.

Только прозелень селезня в сизой стайке
несколько повышает ставки
цвета. На выживание шансы.
Этот проблеск во всей округе
единственный. К разнообразью потуги.
Как бы нюансы.

И на этот мазок устремляется око,
благо от берега он недалёко,
хоть, по правде, не слишком яркий.
Неизбежно к тому же клонит,
производит на общем фоне
впечатлень помарки.

Но всё явственней гул, завыванье, скрежет.
Ветер тучи на ломти режет,
разрывает, вбивает клинья.
Пробудив ожиданье, трепет
и, раскачивая деревья,
добивается сини.

2.

Мир ведь, в сущности, несложен
в неизменной оболочке.
В том же месте часом позже
взгляд с откоса с новой точки.

Кажется, такая малость,
но другое ощущение.
Освещение поменялось.
Изменился угол зренья.

Даль разглажена и вида
не туманит безнадежно.
Растворяется обида
и в осадке, вроде, нежность.

Лес вдали – медов и палев.
Прозревая, что сокрыто,
начинаю с буквы «алеф» –
хоть санскрит древней иврита.

Волны, продолжая тренинг,
отрешённо лижут сушу.
Сходит умиротворенье
на измученную душу.

Всё на свете слава Богу –
больше докучать не станет
равнодушия изжога.
Пробудится и воспрянет

вера в старые завязки,
перепевы без утайки,
басни, бабушкины сказки,
древнегреческие байки.

Относящиеся к Року,
применимые к сюжету,
уводящие к истоку
и впадающие в Лету.

Формулирующий кредо,
кстати, делает, как ставку,
на незыблемость рельефа
неизбежную поправку.

Что откроет мир беззлобный,
откровенный нараспашку,
как хорей четырёхстопный,
разгоняющий упряжку.

Остриём в руках каюра
заносящий в Книгу Судеб
и де-факто, и де-юре
то, что в вечности пребудет.

Днём – в четыре, утром – в восемь –
под своей вуалью ясной
выглядит всё так же осень.
Беззащитной и бесстрастной.

В предвкушении предела,
недоступного сознанию,
апеллирующей смело
к слуху, вкусу, осязанию.

В рубище золоторотца,
а, по сути, гордый воин –
почему-то не сдаётся.
Свет рассеян. Мир спокоен.

3.

Тем же уткам раскрошена булка,
и заносятся на бумагу
впечатления первопрогулки
с возвратившим уверенность шагом.

Отменяется красок кража.
И вода всё так же ленива.
Помещаешь себя в центр пейзажа,
соответственно, в перспективу.

Дали, словно простёртые длани,
в горизонт упираются плоско.
Старый пёс привычных желаний,
прежде, чем броситься за поноской,

хорошо подумает. Лапы стёрты,
столько грязь подсохшую месят.
Год подходит к концу четвёртый,
до него уже было десять.

Половина на половину,
и любая из них когти сточит.
Век собачий не слишком длинен.
Человечий – ещё короче.

Берег этот, он как надежда –
не бесспорен, но точка отсчёта.
Воздух свеж. Синева безбрежна.
Жизнь. Весна. Протока. Суббота.

НАТАЛІЯ БЕЛЬЧЕНКО

Київ

Привесниись до весни, придивись –
І не схочеш тепер як колись.
Хто іде навпростець через ліс,
Той простецьких не стримує сліз.
Недарма ти себе видаєш
Навесні за вужа серед веж:
Прокидаються, власне, вужі,
А не просто якісь муляжі.
Хто дивацьки дивився, тому
Розігнати вдалося пійтму.
Розігнись після днів на розрив,
Ставши вежею серед вужів.

ПОМИНАЛЬНІ ДНІ

ліснички та ліснички
йдуть крізь ліс навпрошки
їм відомі всі нички
де навиліт пташки
душі просять: виманюй
Воскресінням весну
приголублюй із рання
дивину весняну

десь там Людина груша
мов людина стоїть
птахом спить незворушно
серед перших суцвіть
дикий голуб туркоче
він-бо з попелу встиг
взяти лагідні очі
ніби в перших святих

*Як у глиб плоду
сходжу в себе.
Ярослав Івашкевич*

Ніби йду вулицею Андерса у двір,
Повз бар млечний мій шлях.
Або – зі зворотного боку:
По Левартовського,
А назустріч мені по Заменхофа –
Наснилі... На Умшлагплац...
Плід знає глиб.
Закритий конверт несу
По гіпотенузі.
Глиб плоду я,
І весь Муранів –
Як судома воїна біля Мазовецької
І тис ягідний жалобний.
В одному вікні прокидається
В іншому – засинає тис.
Тсс... І тисне на підмурівок.

О болотяні трави, які
Погляд сов протинає наскрізь,
Страх, немов на очах мідяки,
І тонкі голоси через ліс.

Жаби кумкають, ніби води
В рот набрали на тій міліні,
Де не тонуть офелій сади
І рептилій чавунні пісні.

Прожене Темпранільо ковід,
А Гарнача – авітамінози
Там, де з некуштуваних, нові
Вина ніччю поллються венозно.

ДОМОНТАР І НОМАДИ

1. Дрогобич. Солеварня

Сіль з'їдає метали,
Залишаючи шкірі
Шкіряне, тіло стале
У солоному вирі.
Так зберися до купи
В лоні дикої солі!
Вкрились шахтові зруби
Кров'ю солі поволі.
А хтонічні тварини
Просолились зі споду.
Змій доніс до людини
Насолоду й незгоду.
Хтось у спосіб черінний
Появивсь на фронтірі,
Той із солі, той з глини,
Мурашвою по шкірі
Міту. Сльози і рани
Споконвіку солоні.
З чаші учт галичани
П'ють. І знову з долоні.

2. Дрогобич. Цегла

Як збіжиться до купи
Давня цегла з Залісся,
Що червона, мов губи,
Ти клеймо роздивися.
Пам'ять Браму Горішню
Відчиняє надмір.
По червону, як вишня,
Цеглу йди у шпихлір.
Час назвав поіменно
Довоєнні цеглини.
Як розправиш рамена,

Зазирни у совине
Личко десь із фасаду
Дитсадка на Франка,
Й заворушиться радо
Його цегла тривка.

3. Колискова для Бруно

Бруно, брате... Нагода
Рвучко в місто впадати,
У принади і зради,
Насолоду й незгоду...
Око сну дикувате
Шле «добраніч» у вирій,
У солоному вирі
Личко десь із фасаду.
Цегла спить у шпихлірі.
Утікай ся вертати.

Від весни до весни розгойдавшись колискою,
Зустрічаєш дітей, проводиєш батьків,
Поки сонце до тебе в субтемряві зблискує –
П'є за дух твій, щоб він березнів і квітнів.

Нонпарель незрівнянна! Закохано набрано
Шлях, і вірші, і вуст заблукалі рядки;
Міцно втримуй руками форель або яблуко,
Спокушаючись, зваблюючи залюбки.

ОЛЬГА БРАГИНА

Киев

я собиралась в школу утром работало радио Союз ещё не раз-
валился но уже был где-то на грани
в анонсе телепрограмм сказали во сколько часов будет фильм
«31 июня»

я решила что надо обязательно его посмотреть понятия
не имела о чём там не знала ни про какого Пристли
но почему-то решила что обязательно должна увидеть этот
фильм

посмотрела и влюбилась хотя я тогда легко влюблялась
в фильмы про романтику и песни поэтому не пересматриваю
его с детства

последний раз смотрела с подружкой в конце 90-х тогда меня
рассмешил эпизод про сыроедение

воистину нельзя дважды войти в одну реку даже один раз
нельзя наверное это не та река которую мы видим

в 90-х я думала что жизнь уныла кто бы мне сказал что у меня
будет по ним ностальгия это всегда ностальгия по молодости
по тем фильмам которые смотрел в первый раз или вообще
тогда не видел и смотришь через 25 лет

девочки из моей группы обижались когда преподаватель
фонетики обращался к ним «guys» он говорил что это значит
просто ребята

говорил вот придётся вам спать по два часа в сутки ну а что
делать если работа

я сидела с учебником латыни и делала для кого-то платный
перевод потому что у меня была пятёрка автоматом

преподаватель фонетики проходил мимо и сказал не надо им
подсказывать потому что фонетику я тоже давно сдала просто
не хотела терять свободное время

а он решил что я ищу для кого-то ответы
я любила латынь а фонетику не любила но это не имело
значения я всегда была максимальной занудой
я не могла учиться всегда хорошо потому что некоторые вещи
не понимала
а некоторые понимала и давила на них
вот есть вещи которые нельзя понять например как выйти
замуж
даже не как а зачем я никогда этого не понимала
это мне придётся бросить латынь и Джойса
и волноваться что у кого-то невкусный борщ
но как назло у меня всё время спрашивали когда ты выйдешь
замуж если бы я была замужем у меня бы точно не спрашивали
как там Джойс
о нет не подсказывай дай сама догадаюсь
я не обижалась на это общее обращение «guys» меня вообще
сложно было чем-то обидеть пустыми полками забитыми
троллейбусами неотремонтированными туалетами даже
мыслю что кто-то меня должен так же любить как я Джойса
люблю например чтобы жизнь прожить со мной вместе это
предположение за горизонтом событий
поэтому мне было всё равно если это чужой мир с ним
не получится говорить на его языке разве что на мёртвой
латыни
я думала что все мои возлюбленные давно мертвы в общем-то
так и есть

люди которых я видела не знали в чём смысл жизни
в 80-х ещё думали ребёнка завести хоть какой-то прогресс
моя подружка говорила маме если бы ты уехала на Север я бы
не появилась
а её мама ей отвечала ты появилась бы но в трёх экземплярах
потому что там больше нечем было заняться там
мама говорила что надо посмотреть мир пока мы здесь
другая подружка говорила что смысл в любви но стала
пиарщицей фабрики в Прилуках

хотя никогда не курила я не стала спрашивать в чём же её любовь хотя не помню уже может она и курила
моя аберрация памяти говорит что это она покупала по сигарете у бабушек в переходе
люди которых я видела не знали в чём смысл жизни большинство считало что в деньгах
в деньгах иначе смысл не измерить потому что нет эквивалента равного жизни бессмысленной деньги или любовь это слишком мелко было бы если считать начини
люди которых я видела не знали в чём смысл жизни но хотели уверить себя что знают
переехать в столицу мира жениться купить квартиру в Болгарии нет жениться они не могли поскольку выбор ограничивает нас одним из вариантов
а выбор должен быть бесконечен мы ведь не верим в смерть люди которых я видела нет я ведь одна из них ничто не делает меня выше
я тоже не знаю в чём смысл жизни просто для себя решила что в литературе то что называется Web 2.0
то что называется бесконечная любовь мухи в паутине люди которых я видела не знали в чем жизни нет у нас не было смысла просто прожить один день или неделю
иногда клиенты звонили нам ругались что перевели неправильно какое-то слово
но в основном ругались если хотели выбить скидку я думала о как они мелочны ради скидок ругаться
хорошо что я давно не работаю в бюро переводов нет в нашей жизни не было смысла мы получали зарплату каждую пятницу я шла в книжный магазин и покупала несколько книжек
потом мы смотрели дома кино так проходило свободное время мелкое свободное время
но время не должно распределяться лишь между работой и досугом мелким досугом посмотреть кино двадцать страниц прочитать
нет в этой жизни нет любви нет денег это даже не покрывало майи это даже не лабиринт где нужно попасть шариком к центру

я родилась в матери городов русских жила в столице
построенной Долгоруким жила в городе в который Радищев
шёл пешком полгода за обозом ехала три дня в поезде и
я могу сказать что смысла нет ни в чём но мир прекрасен
как путешествие

смотри моя Калипсо в свой черёд любой души умрёт надежда
прежде тела
так рисовали нас и неумело выводили контуры страны
которой нет но тлеет вечность памяти под гнётом
весенним посевным своим работам предана была так выпить
кровь до дна и плоть оставить на тарелки знаешь здесь ведь
белки и синицы заберут забвеньё лёгкий труд
нет все эти страницы памяти которые сотрут за несколько
минут покуда память
содержит всё что можно было бы исправить
смотри моя Калипсо в нас есть всё что может лишним быть
для мира в нас есть всё что отторгает мир
наш почерк неопрятен наш набросок сыр нам говорить здесь
не с кем
мы в общем-то уже так мало весим что любой порыв нас
унесёт куда-то за границы текста
смотри Калипсо это начинается сиеста нас ведут на казнь
и наша жизнь так в общем удалась что нам и возразить ей
нечем-то в итоге
смотри нас полюбили боги целовали в лоб так словно ты
родился и усоп в один и тот же день но жил и длил прощанья
муку
простить ли руку что тебя поставила сюда на клетку пустоты
нет это ведь уже не ты нам говоришь что истины просты что
нет ни рая здесь ни ада а просто тишина и летняя прохлада
нам тяжело с собою в шахматы играть как в поддавки мы
проиграем скоро
из этого узора ткется всё чем был ты или нет нам скучно
горько больно говорить что свет нам бьёт в глаза нас нет здесь
в общем даже

но свет нам бьёт в глаза и руки вымазаны в саже
смотри моя Калипсо пенье не спасает от любви от смерти
не спасает но желанье быть спасённым угасает
и если мы на этой станции сойдём никто ведь в общем
не узнает куда мы держим путь куда ведёт клубок где Ариадна
света

чему ты научился здесь что ты узнал за лето
смотри моя Калипсо нас могли учить простым сложения
и вычитания скорбям сказать вот храм воздвигнут был вот
на пределе сил империю взорвали что кипящий чайник
кровью изливаясь в мир кипящей лавой нет империя не будет
старой только вечно молодой её ли строй засыпав палую
лиственной глазницы впалые дворов оставил тени
империя погибшая от лени куски отравленные пряча по углам
мол выбирайся сам как хочешь иль погибни в лабиринте
вас столько здесь таких зачем-то ходите на Крите в окошко
мутное стучите

смотри Калипсо помолчи вот были бы ключи ко всем
прошедшим жизням говорить бы с ними чтоб не были дворы
глазницами пустыми чтоб не молчали лестницы домов готов
ли ты к отчаянью но здесь

останутся слова как взвесь пустынной пыли от цемента здесь
окрашено смотри же

не подходи и не пытайся присмотреться ближе так нас водит
лабиринт заворожённых болью облучённых и радостью
едино словно детская ангина мы остались дома мы свободны
конечно не пойдём на алгебру сегодня гармонию свою
стекляшкой неба поверяя ампула пустая

да Винчи дама зрак стеклянный горноста
могли бы всё забыть мы прежде истины что истина нам здесь
картины иль оценки иль природа

нам только врут и вряд ли правду скажет нам хоть кто-то
даже мы себе её не говорили никогда ведь правда требует
наивности труда который мы себе позволить не могли бы

мы думали что жизнь это ворочать глыбы и дамбы воротить
и всех вокруг простить заочно априори

и не искать какой-то тайный смысл в ковра запутанном узоре
да что ты посмотри твоя температура просто сорок до сих пор
ты не пришла в себя от бреда

вернее нет пришла конечно же но он остался где-то в крови
чужим антителам здесь слишком многое прощая ведь жалеть
их нужно только пожалеть себя ли что ли
когда иголкой терновой нас случайно укололи мы тоже яда
и противоядия не знали молча от надежды погибали в зале
зрительном полупустом
вернись Калипсо посмотри ведь должен быть твой дом там
где-то ты уйдёшь с обеда раньше всех услышав тихий смех
подумаешь трамвай не едет как на грех

это не та реальность в которой мы жить могли бы
мы бьёмся в стенки аквариума как рыбы
дождь радиации всех сокровищ Магриба
нет ты нас не предашь это для декорации здесь ягдташ
на заготовку нас ты ведь не сдашь
это наш кормчий вечный учитель наш
это не та реальность где мы ходим в младшую школу
а голову дома ты не забыл почему к обороне ты не готова
почему так мало улова так мало детских душ первого туш
это хрупкое чудо мир только его не разрушь
мы летим вперёд на крылатых качелях никуда не успели
отрывной календарь обещает воскресения и недели
все магнитные бури мира класс цвета мастики
не оглядывайся когда ложной памяти Эвридика
в ад спускаясь словно по ступеням не ходящего здесь трамвая
чтобы за руку взять сказать все невысказанно ты живая
смерти нет жизни нет в межеумочном мраке мая
мы встречаем рассвет до крови руки сжимая
это не та реальность где поражения от побед
не отличают словно фальшивую сотню на свет
не подносят к глазам вот проступят бессмертия знаки
примирения с кровью на северном пепле маки
отпусти меня знаешь мы выжили здесь не зря
над нами взовьётся взвесью пепла заря
картой просроченной в поиске нового мира
ты не оделась теплей а на улице сыро

за что тебя любить посмотри на себя в общем не за что ты
не отличница до сих пор
обетование вечной жизни каждый раз тут звучащее
как приговор
каждый взгляд походя бросаемый пуля или укор в порошок
растирающий между делом
здесь должна быть дорога молодым сильным и смелым
существующим в гармонии с телом
пусть любая любовь здесь заканчивается расстрелом иначе
никак все мы прокляты у нас на лбу несмываемый знак
невидимые чернила
в белый свет как в копейку за что-то жизнь нас не простила
ну любила может быть как-то как умела как знала но страхи
передала свои в отравленных генах
знание что убьют в первую очередь сильных и смелых а если
отсидеться где-нибудь в тылу в душе храня детскую мглу
клясться на голубом глазу что никогда не солгу а что ты
думала мы перед ней в долгу она нас кормила поила от неё
у нас отчаянья сила
тьма накрыла ненавидимый прокуратором город смотри что у
у неё внутри кровеносные сосуды артерии вены потраченные
на созерцание зелёных стен перемены словно синдром
отмены себя что ты держишь в руках как сдачу эта любовь
пустота в которой я ничего не значу могло ли здесь всё быть
иначе или всё расписано наперед просто всему свой черёд
что твоё не убудет что не твоё уйдёт
холодильник быстрой разморозки для тёплых коктейлей лёд
странно что она тебя любит но всё равно убьёт для того ли
жёлтые витамины таяли на ладони
для того ли вакцины детские нам кололи но собой отрицая
свободу воли через трубочку в жаркий день кровавые апероли
страх не изжить он в крови он под кожей даже отрицая его ты
не выиграешь ничего с ним не играют в прятки
не загадывают друг другу глубокомысленные загадки кто
кого перехитрит страх апатия стыд бесполезные вопросы
что у тебя болит мир ответить что ли если тебя по нему
кроили потом надвое раскололи и существуешь в боли

как в формалине как в питательной среде в своём всюду
и нигде
говори о неважном только о какой-нибудь ерунде
маскировочной сетью наручниками на венах здесь нет вещей
ни бесполезных ни ценных ни света ни тьмы ни свободы
ни тюрьмы есть только мы
взятые у себя на несколько дней взаймы

говорю смотри снова ходят в кожаных юбках
словно мы попали в начало девяностых мама говорит тем
более так же скучно
тогда я пошла в «Выгуровщину» перед Пасхой купила
буженину на гриле
а теперь и непонятно даже чем себя порадовать
говорю я тут была последний раз в 2016-м наверное когда
приезжала Лена мы пошли покупать новые ложки
скоро придётся покупать снова
мама говорит а это объявление про штраф за мусорную свалку
на стене тоже здесь лет двадцать
но как быстро всё стало ободренным говорю это просто
советский кафель
мама говорит да в клубе СБУ всё в мраморе он старше чем этот
кафель а ему хоть бы что
ну мы хоть ходим в твою школу голосовать на выборах говорю
так я тоже была на выборах в прошлый раз правда только
на первом туре
когда был второй тур уехала на фестиваль в Харьков мама
говорит ну и правильно
говорю а мой садик был цветным его покрасили в жёлтый
ну он был такой совковый мама говорит ну а каким он мог
быть там сейчас наверное уже и не садик
говорю уже три женщины мимо прошли с одинаковыми
духами мама говорит новая мода
спрашиваю а в Володарке ведь были павлины или мне что-то
кажется

мама говорит да были их хозяин работал на газоскладе
развозил баллоны
всегда в магазин и по делам ездил на велосипеде
когда пришёл устанавливать баллон я чтобы поддержать
светский разговор спросила его о павлинах он сказал что ему
они нравятся
мы возвращаемся домой говорим о вреде сладкой газировки
о пользе воды

ЮЛІЯ БЕРЕЖКО-КАМІНСЬКА
Буча

Тут на ранок хіба що ми.
Повні снів і горіхів кошики...
Сніг у Луцьку говорить пошепки
В темнім небі його зими.

Дрова тліють,
Тремтять чаї,
Ранок – в чорному – ілюзорному.
Як востаннє тривожно горнемоць,
Наче поїзд уже стоїть.

Вітер здмухує сніг, і дим
Тепло пахне досвітнім спокоем,
І годинник життя відцокує
Металевим нутром своїм.

Десь поскрипує вічний млин,
Ріки тягнуться переплескані,
Тіні стихились перед фресками,
Ледь торкаються вогких стін.

Я сьогодні така, як ти –
Перемовчана,
Переметена,
І лягає в мені заметами
Сніг невивігрітої самоти.

Ніч лишила легкий хітон,
Чай, як час, безнадійно вихолов,
І снує кохлива віхола
Нашу зустріч, неначе сон.

В білий ранок осені – молока й води,
Там, де тануть обриси молодих ялиць, –
Провисають гойдалки павутин,
Листя осипається горілиць...
Пий цю тишу з берега, на містку, –
На хиткому – вистояну і пливку.

Проступає озеро – гладь і мідь,
Клени йому кинули килими,
А під ними – сни глибина таїть –
Теплі сни, що в головах у зими, –
Як тремтіла густо вода від риб,
Як ми не наважились, а могли б...

Обертай навспак вогкі весла літ,
Де іще – ні наслідків, ні причин,
Як сюди – до вод оцих, до землі –
Ти ішов незранений, та один –
Як останній лист,
Як порожній храм,
Як душа з невимоленим ім'ям.

П'ю цю тишу вранішню із молочних рік,
Із твоїх долонь,
Із твоїх повік,
І прядуться дні,
І течуть меди,
І тьмяніють вистиглі золоті сліди,
І ялиці дивляться в непроглядну глиб...
Ми могли проститися...
Й не могли.

Яке тривожне літо тремтить на дримбі!
Гойдається павутинка першої сивини...
Ти кажеш, що я – ожина,
І ти мене довго пив би
Осніженими вечорами непроханої зими.

А я тобі – пересмішник.
Мій голос – лоскіт.
І сиплю тобі, і сиплю і цвіт, і сміх.
І струшують трави роси,
Немов камінці Сваровські,
І губи мої смакують ягоди губ твоїх.

Та ляже вода під ноги протяжно й хрустко,
І виполощуть дощі вогняні ліси,
І осінь, йдучи, на плечі накинє хустку,
Яка мені ляже каменем – пронеси!

Я все ще – отам, де ріки тонкі, як руки,
Де трави стають медами, а мед – густим,
І не пропускають небо високі буки,
І гори ховають ранок в молочний дим.

Літо облизує губи гарячі,
Губить у травах сережки черешень, –
Все йому хочеться час перевершити,
Все йому хочеться, нетерплячому...

Літо – пора мовчазних неповернень, –
Ні тобі прощї, ані прощання...
Сколює ніч позолочені грані,
Тіні лишає – ламкі і химерні.

Чом ти так скоро, так гостро, так мовчки?..
Входять сади у своє повноліття...
Вітер серпневі розплутує ниті
Білого шовку моєї сорочки.

Приглушуй звуки мої, уповільнюй тіні, –
Іду по крайці днів, як по білій піні,
Де хвиля знов накопилась холодно й сліпо в ноги –
Іду одна, а насправді ж – отак, як і многі.
Мабуть, таки я затиснута геть у дрібних коліщатах –
Не можу видихнути, ані скрикнути, ні мовчати, –
Боюсь увійти, наче клин, у глухі – бо останні – пази
І впертись руками в потріскану стелю часу.
Та, кажуть, там, де на споді – стеля, назовні – вічність,
І час – безмірний, тому і спокій його величний,
І не боятись – то значить – бути легким і вільним,
Ловити хвилю його і дихати терпко сіллю.
І поки вся ця земля обертає свої широти, –
Є час у себе спитати прямо: «Насправді хто ти?»
І все життя – це лише єдина коротка фраза,
Якій бракує не те, що віку, – безмежжя часу.

І коли літо заходить
У вигріті води серпня,
І коли ночі затаєним
Холодом віддають –
Дні стоять на межі,
Як чужі,
Як отерплі
Нестерпно,
Мов оголене слово,
Що позначає суть.

Так відлунює зачин –
Космічною величчю втілень,
Непочатою долею,
Нерозібраним багажем,
Де по білому можна ще
Тонко виводити білим,
Де якась тебе сила
Від самого себе береже.
Я заходжу у серпень –
Крізь вушко його найвужче,
В цю непевну ріку,
В цю незвідану бистрину,
Де за вигином кожним
Окреслює час грядуще –
То осяяну зустріч,
То розлуку її навісну.

Сідаю в останній вагон
(Поїзд мій – без зупинки),
Де менше людей і де довший протяг,
Де не випадковим здається той, хто присів навпроти,
Де поїзд погойдує мірно вагонами,
Як стегнами жінка.
Минають міста,
І літа,
Як води,
Як подув південного вітру,
Як подив
Того, хто на ніч опинившись навпроти,
В проталини сірих очей мимоволі входить.
Земля розгортає себе,
Піднебесся – висі,
І темінь мастка насуває широким фронтом,
Мій (не)випадковий нічний подорожній, чом ти
Все дивишся так,
Наче вік би сидів і дивився?

Якби у пісочний годинник
Щоразу новий насипати пісок –
Він через себе пустелі би пропустив,
А так –
Вітер побавився ним і замовк.
Часу завжди приблизно,
Як і зірок,
Як і твоїх найніжніших слів,
Тих, що ніколи не говорив.
Тільки вони виграють навкруг
Сонцем, розлитим по дну ріки,
Золотом плетеним і рідким,
Котре сколихує плин і пструг.
Тільки слова твої – мед і рій,
Серпень мускатний – прозорий сік,
Що з-поміж пальців твоїх протік
О світанковій порі...
Саме отій,
Що на час крихка...
Саме отій,
Віддала б за яку
Гори сяйні золотого піску,
Котрі намила стрімка ріка.

То було твоє літо – тягучий рахат-лукум,
Самоцвітів, шовків і персиків повен трюм,
Море сріблом сліпило, розведеним на воді, –
Проникай у ласкавий рідкий вогонь,
Шаленій, радій!
Паслись ранки ліниво у гірклій траві долин,
І росла їхня вовна,
Й витягувався полин,
І збиралась вода в сірих чашах драглистих хмар,
Що – от-от – перекинуться й вихлюпнуться на жар.

То було твоє літо – сангрія твоя п'янка,
Коли сонце всього торкалось –
Від пуп'янка до пупка,
Коли ти розтікалась, як дикий карпатський мед...
Що лишилось?
Із ясеня збитий вночі кашкет.
В арках стигне протяжний посвист – вітер шкребе
граніт
Й запускає в солоні коси пальці свої скляні...

Ти – остання, хто плаче за ним уві сні,
Хто ковтає гірку пігулку тривоги і пише листи
Безкінечні, як протяг
В зимовому місті, яке не пройти
Ні за день, ні за ніч, ні лишити на потім,
Ні віддати тремкій струні...

Ти – остання, хто знає, звідки його ріка,
Де та тріщина, в котрій пульсує його потік,
Що ховають його рукава в трав'яних берегах,
Скільки води його живлять ним же забутих рік,
Як на камені риба кидається, наче страх
Розбивати не боляче – лиш підійди зблизька.

Ти – остання. І бути тобі у його естві,
Сни сотати, поїти його птахів,
Розгортати над ним світанки, стелити сніг
Проти ночі на теплу ріллю полів,
Бути завжди собою, а значить – за все і за всіх,
Бути квіткою сонця в промерзлій його траві.

Боюся раніше піти й не сказати «Дякую!» –
Загусле у горлі сонце не дає говорити –
Цвіте у мені нев'янучою кульбабкою,
Неначе життя моє все – нескінченний початок літа,
Неначе це не воно видихається, танучи
В повітрі останнім променем,
Саме звідти,
Звідки сонце моєї вдячності рано чи
Пізно виростає й не дає мені говорити
Це коротке слово «Дя-ку-ю!»,
Це сердечне
Протяжне світло із глибини такої,
Де час у мені переходить у безкінечність
І вже розгортається десь поза мною,
І так само не має закінчення, як і ніякої
Сили його обітнути – найтонший трепет...
Я, Господи, дякую,
Я щодня Тобі, Господи, дякую
За все, що від Тебе!

Я коси хотіла – щоб довгі і темні,
Бо що то за жінка, якщо без коси?
Вставала удосвіта: Господи, де мені
Узяти ті коси, якщо не даси?

Я б на ніч плела їх. Я б часу не квапила.
Я в них заплітала би тиш і роки.
Ті коси мого набиралися б запалу
І воду пили би з моєї руки.

Ті коси зі мною старіли би повагом
І пахли б то зрілим зерном, то дитям,
Від погляду лютого і випадкового
Були б оберегом мені за життя.

А після усього покрилися б росами
І дівчинка якось спитала б мала,
Чи жінку ту знав, що за довгими косами
Довіку ховала два білих крила?

Яблуня моєї бабці
Вродила білим наливом спогадів,
Як я тяглася – мала й уперта –
До плоду першого, до плоду зрілого...
А гілка високо мені сміялася
Всім листям вигрітим: «...бо ні у кого ти
У цім саду не знайдеш смачнішого –
Такого стиглого, такого білого...»

Яблуня моєї бабці
Дивилась лагідно, на сонці мружачись,
Як чатувала я – у трави плутані
Коли ж зірветься хоч якесь невтримане...
А день скуднів і вже брався присмерком,
І сон мене норовив подужати...
Та як хотілось терпкого солоду –
Як потім – в цім саду – отак тобі мене!

Був сад за світ мені. І знала точно я –
Усе, що має цвіт – те має й корені, –
В невідворотної коловоротності
Є час для розкоші і час для спокою.
І все, що зрощене, – віддасть до яблука,
Життя одвічне, бо це – перетворення.
І вродить росяний світанок щедрістю
І соковитою, і білобокою!

Старий годинникарю, розкажи
Одну з казок – як не боятись часу,
Що кимось налаштований в мені
На хід упертий і пологий скіс.
Мені здається іноді, що світ
Ізовні також – ніби-то прикраса,
А в глибині – відточено-складний
І малозрозумілий механізм.

І логіки його, і міцності пружин,
І скільки обертань було в ремонтюару
Ти теж не знаєш, втім, таки не розбереш
Одвічних коліщат усіх його століть.
А Хтось цей світ завів і дав йому ім'я,
І ввірив йому нас, і вірив, що не марно,
І розгорнувся час для кожного і всіх,
І плине, йде кудись, несеться і стоїть...

Годинникарю мій, ти звик вдихати час
В залізо і під скло звичайних циферблатів, –
Скажи мені хоч ти, як вибрати його,
Щоб не черкнути дна, де ніч і каламуть?
Годинникар старий. Такий старий, як світ –
Мабуть, літами люди йому іздавна платять, –
Все дивиться й мовчить, сміється і мовчить,
І бачу – очі знають, але не видають.

ВИКТОРИЯ ОСТАШ**Киев****НЕО-ЛИШНИЙ ЧЕЛОВЕК**

токсичны мысль и музыка и слёзы
классическая музыка вдвойне
и памятники... память... не о розах
(как хороши и свежи)... на войне
нет никого счастливого без тайны
другая жизнь (шагрень наоборот)
страх проявляет будто кадр случайный
но даже в нём о главном не соврёт

по крендельку по ломтику ветчинки
по листику весеннему судить
а ты снимаешь кожу студишь льдинки
стараешься пласты разъединить
по-будничному смахивая крохи
(от праздничного завтрака) крадёшь
крупичицы опыта сокровища эпохи
а с ними – чью-то глупость чью-то ложь

и отраженья правд... как соглядатай
подсматривая в щель чужих бытий
нет-нет – и мешковатого собрата
обкладываешь данью как батый
обгладывая кости лже-иуды
не замечаешь что и сам завяз
куда ни кинь – обманы самосуды
и рецидивы всяческих зараз

сам для себя становишься придатком
предателем вместилищем заноз
и гнойников сознания порядком
всех достаешь однообразьем поз
пристрастием к поэзии глубокой
многоэтажной прозе чей сюжет
неуловим... и мыслишь однобоко
и помнишь то чего в помине нет

*Слова сухие и потерявшие всадника,
Неутомимо стучащие копытами
Сильвия Плат*

и слово «слово» сказано давно
и – сказанное – вписано в анналы
ушли убийцы слов
леса полны не травами... с лесов
свисают гроздья – карловы кораллы
взвесь недосказанного
меньше с каждым днём
из высказанных – вплоть до эпитафий
мир пирамид сложить бы впору –
в нём
хеопсам места нет –
одни каддафи
несокровенных смыслов
слой на слой
смертельная как будто пересловка
ложатся грузы (груды?) –
текстозой
остывшая как магма подтекстовка

в живых ни слова –
горизонта риф
как немота
в которой ты виновен
терзаешь память
(будто падаль – гриф)
и мародерствуя
молчишь о слове

Едой затарен дом –
Сидишь в очках защитных,
Грызешь медикамент
И, кожей рук скрипя,
Листаешь страха том:
На сотню лет рассчитан,
Спрессованный в момент,
Проглочен второпях.
Скажи, зачем ты жил?
На что потратил годы?
И есть ли смысл, ещё
Всё это длить и длить?
Иван Ильич дрожит,
В печёнках все расходы
И отдаёт в плечо
Салонной моды всхлип.

Вдруг детство – ближний круг,
Родительские ласки,
Природный интерес
К открытию всего:
И радость, и испуг,
И вера, пусть – как в сказке,
Где бурый волк не съест,
И весел домовой.

А что с твоей весной?
Лжёт болдинская осень,
Доламывая сны,
Лишая синекур.
Пред внутренней лисой,
Как колобок, несносен
Геройством записным,
Закончишь ли паркур?

А, может, жизни две
(Хотя бы!) так протянешь,
Заматерев в тоске
По лучшим временам.
И тишине в ответ –
Самообмана камешек,
Налипший на носке,
И совесть – в стремянах.

Здесь нет проблем, всё и для всех не ново,
на крыльях и под крыльями – пары
сырого воздуха, случайного, немого.
Застывшая картинка... До поры
не сыплется из рукава земного.

Здесь вечность проступает как пирог
слоёный – сквозь воздушную подушку,
ломая схемы улиц и дорог
и заглушая страхов погремушки,
смывает напрочь макияж тревог.

Ты вечен, но в ответе за века
безликого и липкого везенья,
где под пером ломается строка,
угольями сменяются поленья
и прорастает правда дурака.

Ты уязвим – собою прежде всех,
вина стремится сквозь огонь винтажный,
ты сам себе и зеркало, и смех,
поёшь сквозь слёзы и ...платок бумажный
корабликом пускаешь – в бурный век,
среди непотопляемых и важных.

надо просто смотреть и запомнить
эти лица в заоспинах злых
эти кадры – обломками комнат
больно бьющие – резко – под дых

что-то гонит тебя... кто-то гибнет
на глазах – не успев досказать...
в ослепляюще жаркие «липни»
гласом Божиим рвётся гроза

ты укрытый простынкою влажный
от кошмарного сна наяву
должен вызубрить камушек каждый
дна вселенной откуда зовут

оглушенные вспышками дети
старики ослеплённые влёт...
ты тяни эти кадры как сети –
может правды малёк попадёт

когда в этом городе жили
в нём были такие пласты!
кто вечность твою растронжирил
разъел купола и мосты

на постерах и билбордах
в глубинах разбитых витрин
твой профиль пронзительно гордый
меж не-золотых середин
в дверных и оконных проёмах
сквозь прутья под сенью узлом
ты кажешься им... завоёван
не хитростью и не умом
судьбы теплохладная лава
сквозь пальцы немых площадей
от зависти до «ай лав ю»
ты город мой (вечный?) где?!

*Городок, что я выдумал и заселил человеками,
городок, над которым я лично пустил облака,
барахлит, ибо жил, руководствуясь некими
соображениями, якобы жизнь коротка.*

Борис Рыжий

и да это Киев и да это детка центр
и это серьёзно со сна ли покажется шуткой
вся эта реальная лажа... скриншотов-фальцет
и контрабандистские трезвые прибаутки

ты кажешься пьяной ты рвёшься со дна как с цепи
но держится крепко впивается в мясо эпохи
семья обезьянок у «дружбы»... двойной общепит
на месте объятий где слышатся прошлого вздохи

стоптались сто первые туфельки цокая в такт
забывчивой моде разменянной в мелочь фонтанов
сгребашь железки в надежде на голд-фото-факт
железное право назваться своей средь профанов

пока ещё трезво рассмотришь – сорвёшься стократ
вконец перепутав мостки и мосты и подмостки
для мира со всем сокровенным ты вряд ли Сократ
для вечности правда твоя что для Парки подростки

но Киев-то Киев... Андрей ли тебя проглядел
что из первозванных давно беспрозванным обозван
из «Матери... русских» становишься пшик-новодел
но тащишься храбро за драпающим обозом

последнего нищего так мне не жаль как тебя
он знает всем цену а ты ещё веришь рассказкам
про вечное право и глории лиф теребя
с готовностью служишь скрывающим остов под маской

давно все обглоданы кости – вестей... новостей...
где Ольги венец и где Анны французской корона
и Лыбедь со братьями топчется где-то в хвосте
присыпанной тальком истории gifкой коронной

КИЕВ. ПРОГУЛКА

*...И думаю: о жалкие умы,
предметы не страшатся разрушенья –
вернее, всё, что разрушаем мы,
в иное переходит измеренье.
И мне не страшно предавать словам
то чувство, что до горечи знакомо.
И я одной ногой гуляю там,
гуляя здесь, и знаешь, там я дома.*

Борис Рыжий

Киев. прогулка. как будто не мы это.
мы. без сомнения. город не тот.
если же тот это город – с Louis Vuitton...
и техникой смерти... то чём он живёт?

слышите – гул? наступают сомнения:
в книжках с картинками... в слове «любовь»...
всё без ошибки – в духовной Ниневи
слово Наума преломится в кровь.
ветки сочатся осенней усталостью...
сочная память о детских мечтах...
хоть бы полкамушка счастья осталось бы –
всё нанизались бы бусины в такт
памяти. но. что ни памятник – вмятина.
что ни полслова – обличем в тлен.
Кия и Щека с Хоривом заклятие.
города-призрака схрон – Борисфен.

убегашь – а горе растёт...
тени (в полдень и нет) не выше
этих волн, в темноте еле слышно
проявляющих времени счёт;

чем ты дальше – тем больше ты здесь:
в точке «до», в точке «после», в себе ты,
проживающей страсть или в жуть
забивающей гвозди обетов;

всё бы проще – забиться самой
в щель эпохи, распадом грозящей,
до изжоги наевшись страной,
исторический спам морозящей.

ИРИНА ДУБРОВСКАЯ

Одесса

ПОД СОЛНЦЕМ

(Из летних тетрадей)

В НАЧАЛЕ ИЮЛЯ

Июль. Обещают безбожное пекло.
(А что обещать ещё можно в июле?)
Но мокро пока, и листва не поблекла
От жгучего солнца, и мы не уснули,
Сомлев от жары, истомившись до края.
Ещё мы глядим хладнокровно и смело
И, капли последней прохлады вдыхая,
Не верим, что завтра расплавится тело
На знойных угольях и дух онемееет,
Но будет держать до конца оборону.
А после, мы знаем, не раз пожалеет
О давешнем блеске, не вспомнив урона...
Господь ли так создал рукой милосердной,
Иль время колдует, как добрая фея,
Но память беззлобна, сладка с ней беседа,
И то, что прошло, с каждым годом милее.

ПОД СОЛНЦЕМ

1

Набегают лето, настигает,
Тайные вращает механизмы.
Календарь затмением пугает,
Звёзды обещают катаклизмы.
Допекает лето, намекает,
Что, возможно, будет горячее.
Сердце ноет, тело привыкает,
Под лучами плавясь и мягчея.

И уже здоровье от болезни
Отличить не может, да к тому же
Проникает лето, в душу лезет
И душе внушает: будет хуже...
И душа с тревогой смотрит в небо,
Думает: скорей бы всё минуло.
Бредит, как спасенья просит снега,
Изойдя от летнего разгула.
Развлекает лето, распекает:
Что ж ты, из особенного теста?
Погляди, как гладь нежна морская,
Как роскошна южная сиеста!
Гонит страх, от мыслей помогает...
Жить спеши, пока жива природа!
Пробегает лето, убегает,
На земле меняется погода.

2

Чудесно, прелестно
в июле купаться.
Жара повсеместно,
пора расслабляться.
Тела подставлять,
чтобы волны ласкали,
резвиться, гулять
и порхать мотыльками.
Лениться, любиться,
как прочие твари.
Потом появиться
на южном базаре.
Не маясь, не каясь,
не тратя мгновений,
вкусить, не стесняясь,
земных наслаждений.
И вновь на закате,
и вновь на рассвете
быть вроде туристов
на этой планете.

Пока не стемнеет,
пока не нагрянет.
Пока нас щадит,
задержавши на грани,
июльское небо,
беспечное лето.
Его благодатью
мы странно согреты:
как дети, что вовсе
ещё не гршили.
Нам боги под солнцем
играть разрешили.
Как будто отсрочат
на целую вечность
суровую плату
за нашу беспечность.
И мы на рассвете,
и мы на закате
себе позволяем
не думать о плате.
Рисуем прожекты,
даём обещанья,
как будто и правда,
не будет прощанья.

ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ

Дождь в июле – что за сказка,
Что за пиршество в глуши!
Долгожданное, как ласка,
Омовение души.

Дождь по крышам, дождь по травам,
И, вбежавши на порог,
Сын мой, душка и отрава,
Учит первый свой урок.

Это – небо, это – туча,
Это – гром средь бела дня.
О мой мальчик, будь везучим,
За себя и за меня!

Будь таким, как этот дождик, –
Светлым, радостным, благим.
Раскрывай свои ладоши,
Отдавай себя другим.

Обойди сторонкой сытых,
Погляди, какая ширь!
Для смятённых и разбитых
Не жалея своей души.

И, какие б только планы
Ты ни строил впереди,
Для любимых и желанных
Не жалея тепла в груди!

Но когда-нибудь вот так же,
В жаркий полдень выходя,
Утоли ты чью-то жажду
Звонкой каплею дождя.

ПТИЦЫ

– О чём поёте с высоты,
когда ещё в постели нежусь?
– О том, какая в мире свежесть
и как ленива нынче ты.

– Но я уснула на заре,
я вам писала дифирамбы.
– И что ж? Твои нам скучны ямбы –
ты извелась в своей хандре.
Как плод, бродящий в кожуре,

ты вся в себе, ты вся в работе...
А наша музыка – в полёте,
в беспечном свисте по утрам,
в уменье делать тарарам
у строгих умников под боком...
Ты не из них ли ненароком?

– О нет, я с вами заодно!
Я здесь некстати и давно
хочу повыше перебраться.
– Ну что ж, попробуй постараться.
Но нам-то, впрочем, всё равно.
Что здесь, что там, ты нам чужая,
ты вся в страданиях земных.
А мы, рассвет опережая,
для вас, усталых и больных,
поём божественные трели.
Поём – и этим душу греем,
взамен не клянча ничего.

А ты – согрела ли кого?
Иль всё терзаешься и просишь,
свои обиды в сердце носишь
и что-то пишешь по ночам?..

– О птицы, где же мой причал,
когда и ваше сожаленье
мне не снискать своим трудом?..
– Уймись, в природе оживленье!
А ты всё с болью и стыдом
за свой невычищенный дом,
за окружающий содом
и за пороки поколенья...

Очнись – в природе обновленье!
Живи и радуйся сейчас
тому чудесному явлению,
что в этот век хотя бы нас
Господь от вырожденья спас.

ПОДСОЛНУХ

Вот он – высокий, с пупырчатым диском
И золотым лепестком.
В праздничный день для букета сгодится,
В будни напомним о том,

Что хорошо бы встряхнуться, подняться
К солнцу усталой душой
И улыбнуться, потом засмеяться
Жизни своей и чужой.

Так вот Ван Гог, вдохновившись когда-то
Брызжущим светом его,
Время отсрочил беды и утраты,
Тьмы оттянул торжество.

Вот бы вернуться и вымолить чудо!
Ведь и столетье не срок,
Если б ему улыбался повсюду
Солнечный этот цветок!

Помни ж, художник, о нём ежечасно
И возвращайся всегда
В милые веси, где солнце так ясно,
Что никакая беда

Не устоит пред златыми лучами,
В тёмный воротится лес.
Веруй, художник, глухими ночами
В светлую помощь небес.

ПРИМОРСКИЙ РОМАНС

Т. Сычёвой

Стоит только оглянуться,
В реки памяти взглядеться,
И опять к тебе вернутся
Запах моря, запах детства.

Живо всё, и всё с тобою:
Побережье в старых дачах,
Небо млечно-голубое,
Жар и трепет дней горячих.

Всё, что дорого, нетленно,
Только мы идём куда-то:
Непрерывно, непременно,
В путь неблизкий, без возврата.

И звучат, не умолкая,
С остановки самой дальней
Гул последнего трамвая,
Вздых последнего свиданья...

НА БОЛЬШОМ ФОНТАНЕ

Санаторий на Большом Фонтане:
Музыка, танцующие пары.
Действие неспешно, как в романе.
Детский голос: – Мама, он же старый!
И она... ну, тоже... пожилая...
– Пожила и много повидала, –
Поясняет мама, упреждая
День грядущий собственного бала.

К морю спуск. Айда скорей купаться!
С лестницы сбегая, как девчонка.
«Хорошо бы так же подниматься», –
Над собой подшучиваю тонко.
Вот она, свободная стихия,
Раскрывает пенные объятия.
Птицы, рыбы, жители морские,
Все вы мне товарищи и братья!

Дав начальной жажде утолиться,
Выхожу из пены Афродитой.
«Можно плыть, а можно утонуться», –
Мысль мелькает. На неё сердитой
Становлюсь. Мой мозг бесчеловечен!
Хватит, начинаю жизнь сначала
И живу бездумно в этот вечер,
Отгоняя мысли от причала.

СЕМЁН АБРАМОВИЧ

Одесса

СНЕЖНАЯ ЛУНА

Патина на снежном полнолунии.
Горсти звёзд разбросаны по бархату.
И горят, как грифы шестиструнные,
Радуги летящих мимо транспортов.
Я ловлю глазами эти линии,
Прикасаясь сердцем-медиатором,
Уношусь в космические скинии,
Каждой мыслью, клеткой каждой, атомом.
Как химеры трубы над мансардою,
Ярким светом вырваны из млечности.
Лунный диск – сечение леонардово,
Изваянье мраморное Вечности.
Воздух чист. Тепло дыханье вечера.
В дом вернуться? Воли нет, желания.
Подчинюсь небесному диспетчеру,
Продолжая ночи созерцание.
Ошалел февраль от чайкового хохота.
На окне проклюнулась петуния.
Горсти звёзд мерцают в лоне бархата.
Патина на снежном полнолунии...

Ливень июньский. И влага-пророчица
Упала коврами листвы на обочины.
И дрогнуло сердце – тоской озабочено.
Снегами акаций земля припорошена,
И чувство такое, что будто я брошенный.
Нет чувства грешнее. Дождинки-горошины
Стучат и стучат своей песней непрошенной.
Все мысли застыли, раздумья отброшены,

Привычность картины струится раскрошено.
Беснуется ветер, все кроны взъерошены.
Бегут в водостоках дождевки-горошины.
А, я вопрошаю к тебе, Богородица.
Робея стою у небесной околицы.
И так хорошо, когда в дождь сердце молится
С надеждой, что ливнем грехи все отмоются.
Стена из дождя разделяет нас, Господи.
Не страшно намокнуть, что будет им, проседам?
О, сколько дождей проливалось по памяти,
О, сколько ветров в глубине синей замети.
И вспомнилась детства пора босоногая,
И первое чувство, любовь кареокая.
О, где же вы, где же вы очи любимые?
Мне плохо без вас под раскаты незримые.
Не маслом по стёклам, дождевками пишется
Дождя партитура. Вдыхаю и дышится.
И в этой свободе с бескрылою лёгкостью
Мне видится жизнь лишь полётом над пропастью.

Пилят шумно бензопилы,
Пилят шумно тополя,
Режут тело, кольца, жилы,
Превращая в штабеля.
Исполинские деревья,
Ветви прямо в небосвод.
Отдаётся в межреберье
Человечий антипод.
Пилят шумно бензопилы,
Пилят шумно тополя,
Будут новые стропила
И свободная земля.
Скоро будут тут высотки,
Супермаркет будет тут,
Тополинный век короткий
В жертву людям принесут,

И никто потом не вспомнит
Снегопады тополей,
Пролетающих вдоль окон,
Вдоль вечерних фонарей.

Туманно утро, город мой не спит.
Металл небес рососою опадает.
Пастель и грусть. От красок не рябит.
Да стрелка красная секунды отмеряет.
Как пасмурно... от влаги воздух мокр.
В тиски мои сосуды зажимая,
Ленивым окриком разбуженных сорок
К оконным стёклам осень припадает.
Сороки в чёрно-белом неглиже
Качаются на облысевших ветках.
А на моём четвёртом этаже
Застыл весь мир в шафрановой виньетке.
Напротив дом в гирляндах и огнях.
Он изготовился для встречи новогодней.
Мне в эту ночь приснилось... на санях
Я вылетел стремглав из подворотни.
Ещё чуть-чуть... янтарной – на покой.
Начала нет и нет конца у круга.
Зима придёт и белою каймой
Возьмёт в кольцо холодная заструга.
Тогда на белоснежном полотне
Проявятся твои следы, родная.
Тогда в земной постылой толкотне
Два наших сердца медленно оттают.
Ну, а пока ноябрь дарит день.
Последний день... зиме уже неймётся.
Весь день льёт дождь. Промокли свет и тень.
И только Полнолунная смеётся...

Уж час Быка, а сна как не бывало.
Свалить бы всё на силу магнитуд,
Я где-то на вершине амплитуд
Итожу день, отход его, начало.
Гуляет ночь. Луны холодный свет
Высвечивает линию свободы.
В обыденности суток и природы
Ищу сокрытый в небесах ответ.
Лучиною горит мой ночничок
И мотыльками теней окаймляет.
Подсвечник бронзовый в семи цветах играет,
В картине прячется неспящий светлячок.
Темны глазницы дома номер два.
Акаций снег на землю опадает.
И сладкий дух под утро усыпляет,
И тихо шепчет на ухо листва:
«Грядёт день новый, ты его встречай,
И не жалей о дне, увы, вчерашнем.
Люби его в рассвете восходящем.
Уходит май, уходит месяц май...».

И снова ночь, зажав меня в тиски,
Разбрасывает звёзды меж ветвями,
Не оставляя места для тоски
И грустных мыслей у оконной рамы.
О, матрицы мерцающих миров,
Какие ваши неизведанные тайны?
К каким берегам вселенских островов
Меня прибьёт в скольжении бескрайнем?
Движенья глаз, движенья звёздных рун,
Живая планиметрия созвездий.
Цунами сердца и души тайфун –
Собрание вселенских «Википедий».

Какая ночь, какая благодать,
Плыви, плыви корабль мой «Надежда».
В такую ночь грешно уж больно спать,
Когда душе и вольно, и мятежно.

«АДАЖИО» НЕБЕС

*Я окна в ночь открою,
Чтоб встретиться с тобою.
Пусть я не знаю тебя,
Мне скажет шёпот дождя...*

Симон Осеашвили, «Навсегда»

Плывут хребты белым-белы.
Плывут вершины гор отвесных,
И режут тело скал небесных
Клыками каменной пилы.
Земля и небо. Я и Бог,
Невидимый, но ощутимый.
Он превращает тучи в льдины
И пустошь вечную в песок.
Свет молча шупает порог,
Мир законный дышит в спину,
Сквозняк исследует пружины,
Вороний крик, переполох.
Раскаты, гром. Пустился дождь,
И в окна бьёт живой картечью.
По стёклам мокрым междуречья,
Эпитетов не подберёшь.
И дождь, и гром – «Адажио» небес.
Я в каждой ноте этой растворяюсь,
Как эти капли в клочья разлетаюсь
И разбиваюсь о стальной навес.
Где дождь и я, уже не разберёшь.
Где дождь и я, уже неразлично.
Любовь моя на крыльях серафима,
Открыв окно, её ты наберёшь
В свои ладони...

В который раз ночь дарит нам стихи,
В который раз луна пронизывает строки.
Это обман, что в ночь мы одиноки,
Это душа трубит, что мы глухи.
Ночь на весах отмеривает всё:
Грехи твои и страсти, и пороки,
И то, как предаём свои истоки,
И Богом данные нам жизнь и ремесло.
Не жалею на то, что боль сильна
И не вступаю в мысленные склоки.
В крови моей рифмованные токи
Сформировались тихо и сполна.
О, как же, ночь, мне дорог диалог
И эти морозящие потоки,
Сомненья, испытанья и уроки,
Поступки наши, кирпичи в пролог.
Я не Сизиф, но есть и мой итог:
Камней разбросано... их не охватит око
А руки тянутся к любимой, кареокой,
И ей одной мой благозвучный слог.
Так, выстроив свой босоногий путь,
Я на заре, встающей на востоке,
В рассветной светло-серой поволоке
Бегу к прибою, постигая суть.

ЛЮДМИЛА МАШКОВСКАЯ
Счастье

И ЯБЛОКИ В САДУ

А лето пахнет розами и солнцем,
Дождём и тихой нежностью, любовью...
Июль уходит, память остаётся.
С тобою? И с тобою, и со мною.

Уютный старый дом, и снова вечер,
В котором звёзды кажутся чужими.
Их свет холодный падает на плечи,
А я сгораю, повторяя имя,

Твоё, с которым жар похож на холод,
И всё понятно: что, зачем, откуда...
Июль уходит. Август ещё молод.
И яблоки в саду. Какое чудо!

Полкилометра от войны...
Мой милый город видит сны...
В них всё как прежде: люди – братья!
И смерти нет! И нет проклятья.
Полкилометра от войны...

Полкилометра от войны...
Здесь ночью – грохот канонады!
И с двух сторон летят снаряды,
И души все обнажены
В полкилометре от войны...

Полкилометра от войны...
Там зло и горе, и несчастье!
Господь, спаси наш город Счастье!
Пошли нам мирной тишины...
В полкилометре от войны...

Я – НЕ СПОСОБНА

Стучат колёса монотонно,
Дорога, скука – c'est la vie!
Сосед в купе вещает сонно
О не сложившейся любви.

Колёса вторят: слушай, слушай...
И долго пьётся терпкий чай.
Попутчик ждёт, что свою душу
Я приоткрою невзначай...

Прости, попутчик, не посмею,
Хоть мы не встретимся опять,
Свою любовь, что в сердце грею,
Я не способна расплескать...

МИНУТНАЯ СЛАБОСТЬ...

Танец метели злой
Нас разлучил с тобой...
Не пиши мне!

Веру убьёт любой,
Бросив к ногам любовь.
Не пиши мне!

Жизнь без тебя пуста,
С чистого вновь листа.
Не пиши мне...

Если любовь – беда,
Что же счастье тогда?
Напиши мне!

ФОТОБОЛЬ (песня)

Так холодно, так пусто мне, когда
Листаю снова прошлого альбом.
Оттуда не приходят поезда,
Там каждая страница – фотоболь...

Припев:

Нож к горлу приставляет одиночество.
Моя душа замёрзла от потери.
В твоих глазах себя увидеть хочется,
Но в прошлое навек закрыты двери.

Сюда ты не напишешь даже строчки,
Но мне во сне привидишься ты вновь,
Чтоб отругать за скверный, слёзный почерк,
Где на «мы вместе» рифмою – «любовь».

Припев.

Сгорела наша жизнь... Дотла сгорела...
Живу, судьбу напрасно не кляня.
Я на земле любить тебя посмела...
Так как там – в небесах?

Легко ли без меня?

ЮЛИЯ ПЕТРУСЕВИЧЮГЕ
Одесса

КНИГА КРЫСОЛОВА

1. Вступление

Этот город не спал. Он прижался к земле, притаился,
Многоглазый паук, он высматривал новую жертву,
Он раскидывал тонкие липкие ниточки улиц.

Огоньки расплывались, и звёзды смотрели, прищурясь,
Как дрожала река, отдаваясь осеннему ветру,
Как в открытую пасть подворотни запрыгнула крыса.

Я стоял на окраине, можно сказать, на опушке,
Среди маленьких каменных домиков, сбившихся в кучу,
Слушал тихие всхлипы реки и бормочущий ветер.

Этот город, насквозь пропитавшийся страхом и смертью,
Сторожил свою жертву уверенно, жадно, беззвучно.
Где-то хлопнули двери. И я оказался в ловушке.

2

Камень в испарине. Мокрый асфальт тротуара.
Мокрые стены, и плесень ползёт за пороги.
Что-то неясное плавает в воздухе мокрым,
Мёртвые сны превращая в живые кошмары.

Что-то шуршит за стеной, шелестит по паркету,
Прячется в тёмных дворах, беспросветных колодцах.
Ночь будет долгой, и кто-то уже не проснётся.
Будьте уверены – я доживу до рассвета.

3

Что говорила река? – «Не ходи, пропадёшь:
Нож в подворотне, удавка в кривом переулке,
Тень за спиной тянет к горлу холодные руки, –
Схватит, задушит, и свалишься навзничь под дождь».

Что я реке отвечал? – Я смеялся в ответ:
«Я не боюсь ни ножей, ни удавок в подъездах.
Тени лежать под ногами и знать своё место.
И надо мной власти этого города нет».

Так я ходил по ночным перекрёсткам один,
Видел забитые досками окна и двери,
И на воротах кресты – санитарные меры.
Кажется, здесь был объявлен чумной карантин.

4

Это были не крысы. В подвалах и на чердаках,
Во дворах, в подворотнях, на крышах, за стенами, в стенах,
На углах, на пустых площадях, в переулках и скверах –
Обитали не крысы, а всепроникающий страх.

Он был в воздухе, он пропитал собой камень домов,
Расплывался отравой в крови и въедался под кожу,
Он трепал беззащитное тело припадочной дрожью,
И сочился из сказанных шёпотом на ухо слов.

Нужно было уйти, проскользнув мимо спящих постов,
Но я чувствовал вызов, прямую глухую угрозу.
Я стоял и смеялся, вдыхая отравленный воздух.
Я почувствовал вызов, и был к поединку готов.

5

Острые пальцы калибра отверстий на флейте,
Твёрдые губы вложили дрожащую душу
В узкое хищное тело, и дерево дышит

С всхлипом, со свистом, и крыльями рвутся наружу
Чёрные звуки, и голос взлетает всё выше,
И вместе с ним поднимается режущий ветер,

Взмахом бича рассекающий небо наотмашь,
Взмахом ножа разрезающий сонное тело,
Воплем стрижа обрывающий с крыш черепицу.

Чёрное узкое горло смеялось и пело,
И отвечала такими же криками птица,
Как пересмешник, зеркальный двойник, перевёртыш.

6

В. Крапивину

Что я знаю о тёмной дороге? – Наверное, много.
Слишком часто прощаться пришлось на её перекрестках,
Слишком многих пришлось провожать
со скрипучих подмостков
По заросшей полынью просёлочной тёмной дороге.

Помоги мне в пути! – Разноцветных корабликов стая
Над верхушками трав поднялась и ушла с журавлями
Над пустыми осенними выплаканными полями.
Помоги мне в пути, потому что и я улетаю.

В перемёрзшее небо, в котором нельзя заблудиться, –
Там находят потерянное и пропавших встречают,
Там звенит перекличка летящих над берегом чаек,
Или, может быть, это другие какие-то птицы.

7 (считалка)

Пятна крови на брусчатке –
Это просто страшный сон.
День прошёл и вышел вон.
Всё в порядке? – Всё в порядке.
Где-то тикает взрывчатка.
В голове чуть слышен звон.
Город сном заморожен.

Лезвия на циферблате
Режут время пополам –
Это нам, а это вам,
Это было, это будет,
Настоящее – в секунде,
День прошёл – и нет его.
Не осталось ничего,
Кроме пятен на брусчатке.
Жизнь играет с нами в прятки.
Вот поймаешь, и живи.
Вирус времени – в крови.

8 (сон)

Стаей ласточек в небо срываются чёрные звуки
Из-под острых отточенных пальцев, и музыка длится
Бесконечную долю секунды, и чёрная птица
Режет узкими крыльями небо и падает в руки,

Превращается в узкую флейту, и жадно и сладко
В задрожавшие губы целует отточенной сталью.
Захлебнувшийся музыкой, я улетаю со стаей.
Захлебнувшийся кровью, вытягиваюсь на брусчатке.

9 (флейта)

Янтарные бусы, медовые ягоды солнца
Стекают по пальцам, и сладко слипаются губы,
Влюблённые в музыку лета, и флейта колдует,
На всех языках говорит, и поёт, и смеётся.

По узеньким улочкам, тёмным кривым переулкам,
По лестнице в небо и вверх, догоняя свободу,
Глотай эту сладкую липкую чёрную воду,
И горло наполнят солёные красные звуки.

ю. Музыка

Лезвие звука дымится на коже ожогом,
Узкого шрама полоской, как след самолёта.
Я не солдат. Это просто такая работа –
Вырезать опухоль, сжечь метастазы азотом,

Выжечь болезни стрижиным безжалостным свистом,
Страхи из города выгнать, из тела заразу.
Я не солдат, и я не подчиняюсь приказу.
Те, что хотят излечиться – идут за флейтистом

В тёмную воду реки, а потом – к океану,
К архипелагу созвездий, и дальше – из круга,
К водоворотам галактик по лезвию звука, –
Узкому мостику флейты, – всё прямо да прямо.

п

Никого не спасти. Как вода утекает сквозь пальцы,
Растворяется звук в тишине, и никто не услышит:
Голос маленькой флейты звучит на частотах повыше.
Переключка летучих мышей – не для радиостанций.

Переключка ночных поездов, по степи электричка,
Штормовая сирена в тумане над узким заливом,
Первой ласточки свист, голоса журавлиного клина,
В подворотне ночной еле слышное чирканье спички.

Это музыка, лестница вверх, золотая дорога
От холодных камней городских к океану галактик.
Ты же знаешь – за этот концерт ничего не заплатят.
Мы играем его просто так, для бродячего бога.

12. Город

Мутные сны о какой-то невнятной войне.
Полуразрушенный город, разбитые стены,
Окна насквозь, вой далёкой пожарной сирены,
Время запутано, как и бывает во сне.

Призраки, призраки, память течёт изо рта.
Кажется, я понимаю, зачем это снится.
Кровь на ступеньках, на улицах и на страницах.
Дальше приходят беспмятство и пустота.

13. Концерт на площади

Говорят, в государстве глухих не нужны музыканты.
Слушай музыку пальцами, кожей, сухими губами.
Пробуй звуки на вкус – запах ладана в праздничном храме,
Проливное стаккато дождя и метели легато.

Слушай музыку тёмной воды в молчаливом колодце,
Слушай музыку сада и яблока, полного жизни,
Ледяного осколка луны, боттичелльевой кисти,
Слушай звуки созвездий и рёв разъяренного солнца.

Музыкант в разноцветном плаще управляет оркестром –
Облаками, ветрами, кузнечиками и стрижами.
Пулевые отверстия узкие пальцы зажали,
И река потекла в облака, к берегам неизвестным.

14

Я отомщу. Вы же знаете – я отомщу.
Я верну вам сполна пустоту ваших слов и желаний.
Я возьму ваши мысли и выверну ваши карманы,
И безжалостно всё воплещу. И не ждите ничью.

Вы получите всё, что хотели – гребни в две руки.
Долго будете помнить меня, мою честную службу.
Я с собой заберу только то, что вам больше не нужно.
Я пойду вдоль реки. Малыши, мы пойдём вдоль реки.

15. Песня реки

А река всё плакала и пела,
Плакала и пела, и звала,
Уносила лодки и тела,
И качала в колыбели белой,
В колыбели синего стекла.

Елочными шариками звёзд
Светится ночного неба пропасть.
Вон река течёт в открытый космос.
Нам с тобой уже не нужен мост.
Мы пойдём по тонкому, как волос,
Звуку флейты – прямо и насквозь.

16. Прощание

Здесь пути разойдутся. Дальше каждый пойдёт один.
Между явью и сном открываются сорок дорог.
Первый шаг – это шаг на пути к горизонту, сынок,
Остальное – препятствия или трофеи на этом пути.

Дальше каждый пойдёт в одиночку за собственным сном,
Находя и теряя, теряя и вновь находя,
Слыша тиканье старых часов в перестуке дождя,
Догоняя свой сон, исчезая за тёмным холмом.

Мне без разницы, я не гоняюсь за тенью впотьмах.
Я дорога и музыка, флейта, и я же – флейтист.
Мне без разницы – вверх я иду по холму или вниз –
И меня догоняет свобода, и я с ней целуюсь в холмах.

СЕРГІЙ ШКАБАРА

Вінниця

Так ми тривожно заходили в море – уперше опівночі,
доки воно не поглинуло простір, де солодко дихали.
Десь понад нами блукали комети, мов голови півнячі,
тихо клювали колючі зернини вогненної віхоли.

Довго, так довго ніхто не ступав чорнотою бездонною.
Нафта у череві, між плавниками – підступна, невидима.
Не спокушай нас, лускатий дияволе, ні беладонною,
ані лозою, яка в позачасі сиреною витиме.

Хто ми насправді? Надбиті скульптури, посічені голосом –
краплями сталі, канатами страху. Ми й так пошрамовані
лезами ніжності. Крутиться серце загубленим колесом
дикою пусткою, що відчайдушно скорилася повені.

Так і потонемо в морі північному – і воз'єднаємось:
дві половини великого дерева, навпіл розколоті.
Жевріє човен у мареві бризок, крадеться Дунаєм.
Інший Дніпром поспішає, вітрила купаючи в золоті.

Час подивитися, як вигорає це чорне водоймище,
як вицвітають сухі небеса – мішковиною, книгою.
Будемо чисті, мов титульний аркуш. Щілина між дощок.
Ти видихаєш бузкове повітря. І я собі дихаю.

Заплющуєш очі – і сяє зоря Віфлеємська.
Великими валками тіні по тілу мандрують.
В апостола Якова добре сьогодні клює.
Смиренно чекає вечірнього вогнища трут.

Така нагота всюдисуща і сонячна тиша,
немов під водою. Відштовхуйся від порожнечі.
Намотуй проміння на руки – найтонші бинти.
Колись і воно твою темряву наздожене.

Стоять сіножаті некошених піль – очеретом.
Приховують кошики з манною та виноградом.
І ходить собі немовля, випасаючи череди.
Псалмами від них відвертає пожежу і град.

Дзвінка піднебесна атракція – лютні, цимбали.
Монетами сипле із пазухи щедрий Владика.
Пощо тобі слово, коли ерихонська труба
ще збурює воду, в пустелі лишає сліди?

І ця риболовля, і ця косовиця – були вже.
Солоною тінню скрадаєшся в кожному тілі.
Але опівнічна зоря спопеляє булижник –
і знову іскриться у грудях жива заметіль.

Та чи знатиме наша ріка, що вона – ріка?
Скільки б ми не читали над нею патерика,
все одно напуватиме падальника й крука.
Це про неї співається: «Темно в кінці рядка».

Скільки б ми не писали про музику й ліхтарі,
що опівночі сніться усміхненій дівторі,
гострозубе графіті у внутрішньому дворі
скаже більше. Тому бережися і не хворій.

Намалюєш останній листок, а вода жива
понесе його іскрою на кров'яні жнива –
невблаганне світило, що променем прошива.
Я не вірю в дива.
Я сам промовляю дива.

Ну або взагалі вже нічого не говорив би
і дивився спокійно, як кров'ю стікають риби
на чарі пообіднього сонця. Читав би знаки
у весняному небі – квітневі дерева, злаки.

Але хто їх озвучить і хто про них повідомить:
галасливих закоханих у піднебесі дому,
про бабусю з цигаркою біля твого під'їзду,
що невдовзі казатиме тихо «воскрес воістину»?

Про бігунку усміхнену у заміському парку,
що уперше почула Євангеліє від Марка.
Про кур'єра на ровері, учня на самокаті,
що від власної тіні стомилися вже тікати.

Ну бо хто їм розкаже, як солодко помирати
на руках у молодшого сина чи вилах брата?
Хто посіяв пирій і розкидав каміння в полі
та чого вони вартими будуть без цього болю.

Бо щовечора гупає серце, немов у двері
потайного Едему. І світиться в атмосфері
не рибалка, не скеля, не голос, що тричі зрікся –
виринає апостол Петро і ступає Стіксом.

Зустрічаєш його ненароком у місті в середу
і виймаєш монету із лівого передсердя,
ніби ключ зі шпарини до внутрішнього Едему:
закарбований ангел, на іншому боці – демон.

Страху, ночуєш де?
Що у твоїй руці?
Темрява та вина.
Вузлики і рубці.
Ти порохнявий струк.
Слово на язиці:
вилетить – і шукай
петлі на горобців.

Зуби трофейних жертв,
роси на пелюстках.
Так порожніє степ,
наче зриває дах
богові, що ячить,
мов одинокий птах.
Що твоє серце? Прах.
Як тебе звати? Страх.

Тільки мовчи, мовчи!
Зникнеш узагалі.
Це – неблаганний час.
Це – Сальвадор Далі.
Краплею фарби стань.
Крихтою на столі.

Чуєш? Це рветься шов
поміж цупких століть.

Цілуються дві школярки, танцюючи під дощем.
З крамниці троянди пахнуть, немовби ямину мало.
Порожня плящина міста – хтось випив її доценту.
Нарешті ти кажеш, хто я.
Мовчиш – і мене нема.

Це ти – диригент оркестрів у сутінках лісопарку.
Це ти декламуєш вірші, які перекласти годі.
Палає татуювання вночі на моєму карку –
червона куляста буква у паші небес на сході.

Усе відцвітає, Боже. Так швидко втрачає ніжність,
немовби струна повітря, яку зачепили словом.
І вже не смичок тримаю – старий заржавілий ніж.
Ти викреси з нього пісню. Змайструй золоте весло.

У сизих клубах туману ясніють вологі жилки.
І пахощі орхідейні струмують між двох облич.
Дзвенить мерехтливе світло опівночі. Не кажи їм,
що пляшка насправді повна.
І повинь дедалі ближче.

Подих – неначе відплив.
Шепіт – немовби прибій.
Надто давно говорив
у порожнечі рябій.

У насінині зі скла.
У ворохобній зимі,
що в позачася текла.
З нею, на жаль, не зумів.

Тельбухи риби – слова,
речень порожні річки.
Пам'ять моя зорова.
Протяг у горлі рвучкий.

Солодко бути пустим,
бачити тільки вогонь.
Я розчиняюсь, як дим,
я проникаю до скронь

шерехом мушлі. Шукай
серце каміння на дні.
Світло пізнають ріка й
скеля – одвіку одні.

Дівчинка входить у церкву святого Луки.
Час поділитися тишею і теплотою.
Треба було заблукати тією сльотою,
щоби пірнути у голос – глибокий, лункий.

Келихи дзвонів дощами наповнені вщерть.
Струменів струни виспівують символи віри.
Стільки крилатості в просторі, стільки офіри,
що незворотно яснішає купола твердь.

Дівчинко, всі кілометри насправді – увисьь.
Ми їх долаємо, наче стрімкі блискавиці,
в камені тіла ув'язнені. Легкості птиці
нам не пізнати. Але все одно озовисьь,

щойно забудеш, як дихати на висоті.
Виріжу серце червоного яблука зранку.
Вправно виводить Господня рука витинанку,
райськими росами ходять прозорі святі.

Тихо квітчають дерева – бузок, аличу.
Зернята радості в кожній вологій зіниці,
що задивляється в горло нічної криниці.
Я проростаю у темряві – отже, лечу.

СВІТЛАНА ДІДУХ-РОМАНЕНКО
Бориспіль

ЗАПОВІДЬ ПЕРША

Квіти роздай, залиши пустотілі будинки,
Цвітом каштановим вичисти ночі нагар.
Жити сьогодні сьогоднішнім – рідкісний дар.
Особливо для жінки.

Тиша твоя і в тобі – не однакові тиші.
Слухати мовчки: всередині йде боротьба.
Все, що тебе не убило, зробило сильнішою.
Хіба?

Сонце доходить до краю, зітхає і падає.
Серце доходить до крапки, стискається й тисне.
Ти обираєш щодня між брехнею і правдою
Тишу. Ну, звісно.

Вірити, ніби ніколи не чула про досвід.
Мріяти, ніби ніколи не досить.
І довіряти – немов не брехав і не збреше.
Жити сьогодні сьогоднішнім –
Заповідь перша.

Може й добре, що із човна не виросте корабель,
Не надумає щастя шукати за сорок земель,
Пак, це мало б звучати «за сорок морів».
Ви не знаєте, часом, як мріють у кораблів?
Човен змалечку вчиться, що берег йому – рідний брат,
Що подбає про нього, як стане час помирати,
До якого притулить ребра старечі гниленькі свої,
Легше марити морем, коли ти не маєш сім'ї.
Всі човни – реалісти: мета – те, що ДО виднокола,
Щастя – те, що ти бачиш довкола,
Те, до чого – рукою подати, чи пак, веслом.
Жоден човен не хоче, аби його просто несло
Течією і боже збав від вітрила жаги.
Ви не знаєте, часом, які у човнів боги?
Всі човни зовсім трохи закохані в річку,
Бо вона їх таки хвилює, але помірно, звично,
Від такої не підеш на дно і не кинешся в кручу,
Так, їй трішечки все одно, але ж пристрасть минуча,
Тож на краще не рушити кола по тихій воді...
Всі човни – трохи скептики щодо бурхливих подій.
Вечір щедро витріпує барви з небесних хустин...
Човен тихо дрімає: на ранок знову плисти,
Щоб згодитися тут, у своїй стороні.
Знаєш, добре, що нас ще багато у тому човні

Пам'ятаєш, як
У далекій юності
Ми робили «це» по чужих квартирах,
У під'їзді й ліфті,
На дахах і лавочках,
Під чужими зорями,
На своєму березі,
На підлозі кухні,

На балконі й лоджії,
На паркеті й килимі,
На слизькому кахлі,
Часом надто голосно,
Завжди дуже глибоко,
Не суціль ховаючись
І ніколи – холодно,
Очі не відводячи,
Рук не відпускаючи,
П'яними й тверезими,
Ситими й голодними,
На одному подиху
І ніколи вдосталь?
Пам'ятаєш, як?
Як ми розмовляли?

СОЛО

*«Куди пішов коханий твій,
о найпрекрасніша з жінок?»
Пісня пісень, глава 6.*

Все починається там, де немає початку.
Тягнеться ниточка, хтось її тихо снує.
Мій Соломоне, клади мене, ніби печатку,
Тільки на серце, на серце премудре твоє.

Попід ступнями моїми горить і холоне.
Сорок ночей у пустелі топчу я вогонь.
Зрадника я цілувала, о мій Соломоне,
Зрадника з кров'ю викашлюю з тіла свого.

О, був прекрасним коханий, кохана – мов сарна.
Не загасити ж любові водою з ріки.
В ліжку шукала коханого. Тільки намарно.
Вийшов у сад, а забрів у чужі квітники.

О Соломоне, у тебе ж сто сорок коханок,
Як ти дізнався, що я – та єдина із них?
Другу належала, друга свого я жадала.
Де мій коханий? – Пасе серед лілій своїх.

Не озирайся, не плач, молода Суламіто.
Все закінчилося. Пиниться дух мандрагор.
Все починається там, де не хочеться жити.
Ближче до серця, премудрого серця твого.

Ллють дощі, і в жінок відростає волосся.
Сизі зливи як право нікуди не йти,
І у домі з води тільки ти, тільки ти,
Тільки тиша і... знову здалося.
Ллють дощі. Срібна вогкість старих душетрощ,
Ще дві краплі – і можна за скарбом пірнати,
І ловити сітями себе у кімнаті,
І, заплутавшись, раптом стрибнути у дощ,
Де, хапаючи ротом ридання і зливу,
Розібрати себе на жалі і роки:
Зі слухняних дівчат виростають жінки
Нещасливі...
Непочуті, нелюбі, необрані, не...
Заслужити любов – як безглуздо, як марно.
Ллють дощі, ніби право на щось головне.
Щось захмарне.

Я – жінка в майстрових руках.
Не найдавніший із товарів.
Моєму тілу треба пари,
Бо що за скрипка без смичка?

Струни торкнуться –
І за мить
Зринає ода насолоді,
Найзаповітніша з мелодій
Зростає, шириться, тремтить.
Пильнує ревно кожен такт,
Не схибити щоб ані рухом.
І скрипка, що мовчала глухо,
Надривно стогне: «Так! Так! Так!»
Так я звучу. Як ця земля.
Як цвіт. Як світ. Як перші грози.
До скрипки треба скрипаля.
До жінки треба віртуоза.

Мить не вхопиш, не зачиниш в сейф.
І під першим гострим небом грудня
Сніг – на тебе, ти – на сніг, і все.
Що було – було, так будь що буде.

Замело-мело, під лід – жалі.
Морозно і чисто – хоч молися.
День не встиг, а вечір не барився –
Впав на комір сонної землі.

Ти за ним – у цей холодний пух,
В до кісток колючу сонну зиму.
Спогади – «під дих», та чорт із ними,
Що було – було. Відвив, ущух,
Відгорів, промерз, забув, зневірив.
Лиш на денці клубочиться дим
Згадки, як під гострим небом сірим
Наші цілувалися сліди...

Диявол шепотів мені на вухо:
«Крихка ти, жінко, квола й слабкодуха,
Життя ж бо річ немилостива, груба,
І буря ця тебе напевне згубить!»
«Зрадлива чорна душе, ти даремно
Мене лякаєш небосхилом темним.
Слабка билина, та міцне коріння.
Спитай у сонця, чи боїться тіні.
Чи, може, небо блискавиця вб'є?
Лякатися?
Таж буря – я і є.»

ИРИНА ДЕЖЕВА
Одесса – Санкт-Петербург

Останови красный трамвай
Впереди капсульные переулки
Голое путешествие через край
Дубли, врачи, окурки
Это как танцы в пустой комнате
Шоколадная опера и твидовая отсрочка
Сакрал в переводе подстрочника
Ревность к станционной бочке
Нависшие петли фонарей, пражские заборы...
Вы спутали бастарда с пешеходом по морю
Закрывая секунды заката секундным халатом
Когда за его немотою Саглы

ДВЕ МИССИИ НА РАССВЕТЕ

– Ну?
Может быть, последняя строка
Жара, отбой, турецкий хлеб и группы риска
На трубчатой скале последних царств
Имперский поцелуй
Забыли флирт переиначить летописцы
В скорбь
И младший брат апрельским снегом
И старший тронут небеса
Искусством
Плоть погреть под светофором
Прочесь – всех
Вымереть
Засунуть лишь одно желанье –
Побороть себя – как Ч(э)Л(эл)Е потомка
В писательски незримый катафалк...

Чего же я хочу –
Создатель рубежей и первомоек
Время как вымя уделить удалить сор отмыть выдохнуть
И помянет навылет
Серчанье КПД разлук в топку выудить подкупить
Обоз Вселенной из правил выйти шапочку подарить
Вынести Горшок разбить
Рублём запастись подтасовать посоветовать
Солёные волокна окон, позднего каштана суд розовый
Вызвать след на виолончели слег перекрестить
Логово прокормить причалиться выиграть
Ваську с Гречкой нерукотворно делить
Как мир – дитя
И все мы в нём обломки
Невспаханы глаза и пепел поцелуя
На невесомой тачке трёх моих времён
Поседел сын на радости мальтийских стёкол
Насмотрелся попил и пошёл...
Чего же я смутилась
Созданию дел простых попятных воскрешают где
Радуга пришла остыла боль
Не спим не падаем как не ругаем век незнатный
Давимся лавимся, т.е. шепчем в рясе про любовь
И теоретически не пьем спелую водку
От неё душа щенячья сбегает в щебёнку
И стебёт сшибая застенчивых полис-менов
Сук и пидоров нервного хаотичного движения –
Шкур прибитых мирром к белому галерному виску...

В моём любимом столько красоты
Тенеют транспорты тотальной кожи
В кипе разлук мы – мимы
Судорожно схожи

Хотим на миге вспомнить
Приют, не номер
На складных ходулях там смеётся горе
Дряхлеют сети
И смыслы нянчат слух
В моём любимом столько простоты
Богов, эпох, суровых чаепитий
Беспутных скифских лопухов
Обоз везёт проказу к солнцу
Эмигрантских литий
Забьёмся в чреве брёвнами, плечами
Стихиями, начинкой
Сырых и сладких поцелуев, незнакомых слов
В душе твоей, о, сколько наготы и нелюдимства
На ржавых коликах сваяет свет
Попытки к дому
Сколько не спреси
Юродством, перламутром
Спугнут и улыбнутся дети
Эскорт запьёт чужбину пеплом
Скерцо разнесёт земля
Как быть и должно, о любви...
В моём любимом
Столько красоты

Посвящается ленрок клубу

Я думала в 14
А получилось в 40
Мечты пожившие как полдень
Очнулись без вопросов
Слава Господу!
Как без одежд
На праздник рвётся только слово
И взгляд оттаивающий снег

На Обь возложены причины
На горб вознесены цветы
Сон – жмётся мальчик нелюдимый
На людях вяжущий крестцы
И пахнет голод тучкой связи
И я – кто знает – чем больна
В 14 хотелось яви
А в 40 трудится душа...

DÉJÀ VU

Узнаванье делит слюну
Лупит судьбу
Точит скорлупки
Пересменка разлук
По ведру раздаёт
Мохнатые снимки
Выжми фижмы, краса
Отпили уголок клавиш
Ноготки протоптав
На синильном краю
Шнитке даришь
Каравай безъязыким шатром
Ковбоя
Ползёт на уступки
По слюнявой груди
Болеро
Турецкой улитки
Спотыкаюсь
В пыли редакций Второго Петрушки
Каюсь
Узнаю окоём одесную – словом
И... возвращаюсь
Что с утра?
Лучник сна память-хну
Как слеза табак тушит
Схватка дыр семей

Полотенцем души
Ино-странное чрево сушит
Подари мне рояль, сенбернара
Кофеёк из врат рая
Аналой внутривенный
Взгляд, яйцо
Дежавю края
Раздели луч по земле этажей
Перцем сердца
Ленивым счастьем
Луной скрываясь
Пока капает красный свет
Моя любовь
Детский нос
Поскорей
Забываясь...

Когда пахнет аптекой...

И тут пустота
Дрожит шифер
Соседские трубы вплетаются в разговор
Ржавый потёк на противоположном доме
И даёт, и нет пейзаж, покой
И оставленный снег на корме кочегарки
Как твоё объявление о самоубийстве
Я ем и не успею поверить снам ярким
П.к. пахнет аптекой, и жить без тебя
Нет ни романтического, ни здравого смысла...

КОЛЫБЕЛЬНАЯ

В платиновый век отправятся уделы
В сонный корпус подадут ветер
В уши воткнутся ладони-лилии, слушай
Когда он чёрный, я – белая
Когда я бледная, он – серый
Ресницы по-том рисунок
Мокнущи в любви спрянув
Пришёл закашлявшись
Перевернув до зёрнышка
Покинув небосвод
По язвам пряным ссал как по пятам пути и лужи
Спрошают: падаю иль подаю
На сальной суше взмокшее тепло
На ужин – душу
И волосок по волоску
Малютки, храните термин от тесненья
Прощённые прошены, порозовело
Трос звонарный как глухарь глотает сон
Встретимся перьями на поминках Заппы
На танцполе в рыжем городе Армагеддон

Цветов предшествует природа
И папин свет сквозь тёмное
Стеклом и смехом
Служба, непогода
Ввозное и требушиное
Соткнувшись, право, неслучайно
Дразнить зерно
И сокровенно слово
Цветов поспешество природы
И папин свет сквозь тёмное
Стеклом и смехом
Всё погода, служба
Звон...

ДОМИНИКА ДЕМ
Новоград-Волынский

Сужает месяц пристальный зрачок
Стою простоволосая, смешная, –
Река по сухожилиям течёт,
Другую, вне, бесстрастно отражая.

У той кормы, где никому никто
Ни вёсел, ни огарка, ни бечёвки...
В матерчатом изношенном пальто
Руками балансирую неловко.

Быть может так беседуют с Творцом
На языке лепечущем, невнятном,
Покуда сердце выпорхнет птенцом
Замрёт и не впорхнёт уже обратно.

Течение – привольно, ночь – сера,
Не мельтешат повсюду лица, лица...
Остаться здесь до самого утра
Не помнить, не дышать,
...не шевелиться.

И в час когда замолкнет пустельга,
Лавируя неловко где-то в шаге
По речке проплывёт не труп врага,
А крохотный кораблик из бумаги.

Рыба – свет растопырит лучи – плавники,
Поплавком поиграет и ляжет в затон.
Рыба – мрак ускользнёт из рыбачьей руки,
Потревожит на илестом дне рыбу – сон...

Рыба – крик отворит округлившийся рот,
Рыба – стон затаится мальком-мелюзгой,
Рыба – счастье приманку-блесну заглотнёт,
Огибая поверхность слепящей дугой.

В тишине осторожно, виток завитком
Меж лопаток спускаясь к уступам бедра,
Рыба – нежность точёным кольнёт плавником, –
разбредутся затоном круги до утра...

Закричит, залопочет крылом козодой,
молока облаков наклубив налегке.
Рыба – месяц хвостом колыхнёт под водой,
Превращая остывшую заводь в саке.

По течению плыть и колода мастак.
Недвижимая, тиною станет вода.–
Это знает малец и бывалый рыбак,
нагружавший богатым уловом суда.

В домотканной рубахе из грубого льна,
где послушна волна и пески глубоки,
Вечный вяжет узлами свои невода
И бросает в бездонные воды реки...

Берег этот и берег тот –
Неразлучны и далеки,
Юный дрозд в лозняке поёт
На другом берегу реки.

Хоть намётанный взгляд остёр
И движения так легки,
Но сигнальный горит костёр
На другом берегу реки.

Скрип уключины всё слышней,
Очертания не резки,
Узнаю голоса друзей
На другом берегу реки.

Прикоснуться б сейчас любя,
Поделиться теплом руки –
Я и там буду ждать тебя
На другом берегу реки...

Запредельная полоса
Узконосые челноки,
Увлекают под небеса
На другом берегу реки.

А за отмелью, за косой
Гладки памяти узелки,
У причала сойду босой
На другом берегу реки.

Сотни тропок и там и здесь
Мы – привычные ходоки,
Светит солнца благая весть
На другом берегу реки.

Скоро зазимком первым морозная мельница
Накрахмалит стога, словно юбки купчих.
А пока ещё осень – хозяйюшка, пчельница
Собирает по пасекам пчёл золотых.

Вспыхнет тусклого солнца окалина алая
и исчезнет за войлоком плотных мочал.
Не прошу. Не боюсь. Не жалею. Не жалуюсь –
Подставляю ладони касанью луча.

В жизни всё неизбежно и всё разнопланово,
И не всяк её омут измеришь шестом,
Захворавшая осень – княжна Тараканова
Угасает в овраге озябшим листом.

Осторожно иду, кто б окликнул по имени,
Позвала бы негромко – чьё ухо остро?
А в ответ тишина... только ветер рябиновый
Над седыми огнями рыбацких костров.

ПРЕДПАСХАЛЬНОЕ

Иисуса распнут. Разрешится неделя страстная
Показательной казнью. Привстанет петух на шесте
Во дворе Каиафы, где Пётр троекратным
«Не знаю»
Подтвердит сопричастность к собранию слуг и гостей...

Ни чудес, ни речей ожидающим явки с повинной,
Разбредутся друзья, распроставшись с великой мечтой.
Только вросшая в землю безмолвная тень Магдалины,
Только всхлип материнский:
«За что тебя, Сыне? За что?!»

Отчеканит динарий эдемский фальшивомонетчик:
«Ты взаправду Мессия? Сойди же сейчас со креста!».
Обнимая людей, Бог раскинет могучие плечи,
Разорвётся завеса и хлынет в притвор высота...

Иисуса распнут. Это – факт. До последнего вздоха
Он себя подчинит, одержимой толпы не кляня.
Может, в том-то весь смысл, чтоб однажды, взойдя на Голгофу,
Отрешиться суда
в предвкушении третьего дня...

Глядится в воду месяц изразцовый,
Любуясь: «Свет мой, зеркальце, скажи!».
Погасли маки ленточкой пунцовой
Летящие над пропастью во ржи.

Не шелестят, исполнены покоя
Хмельные травы – пьют зелёный сок.
Бесшумно ходят лошади в ночное,
Частовником кипрея и осок.

В рогозе у воды расставлен волок,
Пасутся на прикорме караси,
И царство дрёмы разве рыбий сполох
Раскатистым ударом огласит.

Заплачет филин – брошенный ребёнок,
Под утро мир всегда так тонкокож,
Что я не сплю: мне слышится спросонок
зовёшь меня,
зовёшь меня,
зовёшь...

Привет, малыш! Январские метели
Сигналят круглосуточно в гобой
И скоро будет без году неделя,
Где лапы над тропой сомкнули ели, –
Мы сотню лет не виделись с тобой.

Я часто попадаю в зону риска –
У нас на то устойчивый безвиз.
И ребяташки рассыпают «whiskas»
Завидев голоса:
«Поди же, киска!»,
Чем веселят охотников на лис.

Случалось, за скрипучею маршруткой
В лохматой буре дымных облаков
Я мчал, учуяв что-то нюхом чутким:
Она казалась мне огромной будкой,
Скрывающей
парное молоко...

Малыш, у вас дома и домочадцы
Очаг и чай, и априори чин.
Подсказывает опыт: приручаться
Для лис недальновидно, если вкратце.
/А если вдруг...
исчезни и молчи!/

Когда лицо морозный ветер студит,
На свете обострение зимы,
Скажи, мой мальчик, как тоскуют люди?
Откашлявшись: «Подумаешь, простуда!»
Или в снегу, клубочком,
Так, как мы?

Январь. Суббота. Воеет амбуланс
Да так, что на душе скребутся кошки, –
Умчаться бы куда-то в Зансе-Сханс
На старенькой больничной неотложке.

Забуть, как бьют конвойные под дых
При понятых инертных до икоты,
Под лопастями мельниц ветряных
Обняться с поседевшим Дон Кихотом.

Подумав, заключить одно пари
Наедине, вдали от папарацци:
Что приручённым по Экзюпери
Надолго не придётся расставаться.

Забраться в кломпы вместо сапогов,
Отчалить под негромкий дискант тронки,
И вынянчить у сонных берегов
Найдёныша, смешного мамонтёнка.

Сквозь пальцы пропускать за вихрем вихрь,
Подкармливать огонь щепой акаций,
Варить эспрессо в джезве на двоих
И больше
никогда
не возвращаться.

ИРИНА КАРПИНОС

Киев

ВЫСОКАЯ ДО ЗВЁЗД ВОДА

Гуляя под последним снегопадом,
я с небом визави без дат и виз,
мне ничего воистину не надо,
люблю я в марте этот снежный бриз

От набережной и до Контрактовой,
и по аллее между двух Валов
иду в предощущеньи жизни новой
и новых чувств, и новых чудо-слов

всё потому, что март – моя стихия,
последний снег – как первое люблю,
дни эти предвесенние, лихие
в сезонном сумасбродстве растоплю

Подола купола – как лик спасенья,
они сияют даже сквозь метель,
я родилась под утро воскресенья,
шёл снег, хоть был уже почти апрель

И вот с тех пор кочую в непогоду
и радуюсь языческой весне,
распущенной, как первая свобода,
и безутешной, как последний снег

я не знаю, зачем я вернулась оттуда,
там приёмный покой без надежды на чудо,
там ни боли, ни страха, ни прочей тщеты,
там сливаешься с небом заоблачным ты...

я не знаю, зачем, я не знаю, надолго ль,
я контракт с этим миром досрочно расторгла,
и теперь я свободна от всех и всего,
возвращаюсь без визы домой в рождество...

я жила на свету и скиталась по свету
беззаконной безбашенной беглой кометой,
вся в страстях, как в иголках,
где – ёлка, где – ёж,
каждый взгляд – звездопад, каждый промах –
как нож...

всё, что было, пребудет со мною отныне,
я бреду по своей персональной пустыне,
задувает хамсин – мой каратель и страж,
и чем ближе оазис, тем ярче мираж...

В те времена, когда я часто пела,
душа во мне, как ложечка, звенела
и откликались птицы в вышине,
и всё цвело, и песня не кончалась,
лишь тень петли, как маятник, качалась
в той проклятой, отлюбленной стране...

В те времена я бегала вприпрыжку,
пила палёнку и глотала книжки,
влюблялась в одного или во всех,
и от любви до одури рыдала
и весь насущный хлам в гробу видала,
не ведая, что дело – швах и грех...

Мотивчик старый на клавиатуре
и мысли о большой литературе
кружили долго голову мою,
под три аккорда пьяненькой гитары,
под гулкие ночные тары-бары,
под тот восторг у бездны на краю

казалось всё безумное возможным
и не существовало истин ложных
и тем запретных и запретных игр,
и жизнь неслась на тройке с бубенцами,
грошовыми сверкая леденцами
и хищно скалясь, как амурский тигр...

Что толку «кабы я была царица»
разыгрывать, как в мелодраме, в лицах
и над финалом розовым корпеть?
Но хочется на окрик обернуться
и к той развилке в сумерках вернуться
и по-другому песенку допеть...

Вся наша жизнь – вертеп на сваях,
высокая до звёзд вода,
летим в одном ковчеге с вами
и не воротимся туда:

в год пограничных коридоров,
пустых и гулких площадей,
в сырое время слёз и споров,
случайных и чужих людей;

под Рождество, белил белее,
снег выпал, медленный, густой,
ночь у обрыва, что ж, смелее,
к надежде новой на постой.

Мы все теперь уже другие,
за тех, кто в небе, пьём до дна,
вертеп нас вертит – время Вия,
лишь кукольнику цель видна,

вертеп на сваях, рыбы, птицы,
младенец в яслях,
оберег.

И в ночь рождественскую снится:
вода, гондола, ветер, снег...

Ну да, мешает спать Париж,
заоблачный, в снегу,
мой друг, ты тоже там не спишь
на дальнем берегу,

а я смотрю на Нотр-Дам,
на Люксембургский сад,
и снег струится по губам,
уходит в небеса...

Париж опять мешает спать
и синий снег вокруг,
и стало, в общем, наплевать,
кто враг тебе, кто друг,

в каких краях сейчас жара,
в каких мороз, метель,
парижским снегом до утра
мне замело постель.

Пока январь и новый год
и шуба на гвозде,
и снег идёт, и снег идёт,
и снег идёт везде,

и святки, чтобы вновь гадать:
семёрка, тройка, туз,
круговорот случайных дат
и легковесных муз,

прости, Париж, прощай, Монмартр,
и арки, и мосты,
кафе Де Флор, Флобер и Сартр,
и ты, мон шер, и ты.

Опять мешает спать Париж
и бесконечный бег,
и я не сплю, и ты не спишь,
и снег идёт, и снег

Там в Уффици – Боттичелли,
там в Уффици – Тициан
и летишь, как на качелях,
по оси времён и стран,

от Флоренции волшебной
до Венеции морской
путешествовать целебно,
до чудес подать рукой,

и в Вероне по дороге
у Джульетты на виду
было так легко, о боги,
в том семнадцатом году.

Я тогда ещё не знала:
мама осенью умрёт,
в мире станет после бала
страшных дел невпроворот.

Жизнь – матёрая волчица,
хлещет время-кровь из ран,
помню только: там, в Уффици –
Боттичелли, Тициан

электронный пепел писем в ватсапе,
виртуальный нож, пронзающий сердце,
кто-то в схимники ушёл, кто-то запил,
кто-то канул в электронный освенцим,

две недели с рождеством поздравляют,
сеть в завалах от лубочных открыток,
вифлеемская звезда догорает
и волхвам пути-дороги закрыты,

электронная мария с младенцем,
рядом дремлет виртуальный иосиф...
ну куда же мне, о господи, деться
в эту зиму, превращённую в осень,

в этом мире, потерявшем реальность,
где ни элина нет, ни иудея?
ты – не чудо, госпожа виртуальность,
ты – чудовище, ты – пепел помпеи;

после каждого исхода из жизни
остаётся лишь аккаунт в фейсбуке,
славословие пустое на тризне
и рыдающие смайлики-суки...

ох, не спится мне рождественской ночью,
за окном долдонит дождь до потопа,
эту чашу, этот мир, авва отче,
увези за край земли автостопом...

есть у времени зловещие меты,
все концы цивилизаций похожи,
стали ветхими любые заветы:
никому никто нигде не поможет.

Тот въевшийся нищенский запах вокзала,
страна, что меня от себя отвязала
и месяц угрюмый над чащей лесной –
да, всё это было и будет со мной,

замызганный смысл изначального слова,
разбойная рваная vita puova,
и вкус металлический тёмных времён,
и тот колокольный серебряный звон,

и вал эпидемий, и шквал катаклизмов
от переворотов до каннибализма...
На чёрта на чёртовом том колесе
мы оптом зависли, не в розницу – все?

Когда Соломон разлюбил Суламиту,
когда содомит возлюбил содомита,
казалось, ещё далеко до конца
с тюрьмой да сумой от венца до свинца.

Но кончилось время надежд и прелюдий,
лежит голова Олоферна на блюде,
а рядом Креститель – святой Иоанн,
накрыты столы земляничных полян.

Так выпьем цикуту за племя людское,
за эту лечебницу с вечным покоем,
за то, что последний живой аксакал
на розовом мерсе в астрал проскакал

Мы все скучаем только по себе,
по тем, кем были и уже не будем,
есть предопределение в судьбе:
кому – в джюльетты, а кому – в гертруды.

Но можно быстро передёрнуть роль:
кто метил в гамлеты,
стал сущим яго.
Фортуна – тот же шулер, в этом соль:
овце быть волком, мудрецу – дворнягой.

Так и играем слепо в домино,
счастливчики, паяцы, карабасы –
все на плаву, лишь слабое звено
вдруг нарушает целостность баркаса.

Фортуне надоело мухлевать
и плакаться в дырявую жилетку,
она раскрутит колесо опять
и поиграет в русскую рулетку.

Никто не ведает, что суждено,
сидим в платоновом пещерном зале
и смотрим это старое кино,
разгадка ожидается в финале

Просыпаешься: впору с утра застрелиться –
отмеряла я срок восемь жизней назад,
и с тех пор мне не спится, расплываются лица,
и никто не спаситель, не друг и не брат

Это время прибито сапогом равнодушья,
всем вокруг до тебя – как до чашки пустой;
начинается лето – правит миром удушье
без надежды на воздух, как море, простой

Перестук поездов, корабли, самолёты...
только слышу опять, как звенят кандалы,
больше недостижима высокая нота
и с шипами испанские чуни малы

Искорёженный почерк на клетках бумаги,
виртуальная муть в преисподней сети,
я всё вешаю, вешаю белые флаги,
но ответа, как ветра в степи, не найти

У поэта Ширяева был пистолетик,
на коне вороном проскакал он во сне,
только мне так бесстрашно умчаться не светит,
я на всём белом свете увязла в вине –

перед жизнью, не прожитой так, как хотелось,
перед детской беспомощной лютой тоской,
от меня отвернулись и смелость, и мелос,
и Фортуна-чертовка ушла на покой

Так прощайте, античные юные боги,
лишь тебе я завидую, старый Сократ!
Я – всего лишь бурьян у забытой дороги,
прогоревшая лампочка в тысячу ватт

река звалась Почайной,
судьба была случайной,
любовь была напрасной,
а жизнь – страстной и страстной

по сумрачному лесу
блуждали поэтессы,
их физики любили
и для острастки били

не вздохи на скамейке,
а рифмы и ремейки
их быт сопровождали
и песню пела Дали

сменив коньяк на виски,
пришли другие миски,
у них другие дали,
им петь дано едва ли

но любят их поэты,
оставшиеся где-то
в слоях культурных Трои –
не боги, но герои

кругом всё изменилось,
зачем, скажи на милость,
быть дудочкой напрасной,
такой страстной и страстной?...

АНАТОЛИЙ ЛЕМЫШ

Киев

Ничего они с нами не сделают...

С. Юрский

Город пахнет листвой облетелою,
Опьяняет озоном дождя.
«Ничего они с нами не сделают» –
Мудрый Юрский сказал, уходя.

Мы живём, словно в землю зарытые,
Гости, пасынки в этом раю.
Именуются нынче элитой
Инвалиды по части ай-кью.

Сколько можно себя им раздаривать,
И актёрствовать, с горлом в петле?
Погляди – уже пенится варево
В этом чёрном бездонном котле!

Погляди на страну одурелую,
Ты ведь знаешь её наперед.
Ничего они с нами не сделают.
Помни надпись: «И это пройдёт».

Да, ещё нагорюем, наплачемся!
Да, опричники тут хороши!
Это нынче вершины палачества –
Технологии ломки души!

Но кружится листва пожелтая,
Но мерцают созвездья в воде.
Ничего они с нами не сделают.
Ничего они с нами не сде...

ЧЁРНЫЙ КОТ

На пороге синагоги
Восседает чёрный кот.
Бродят цадики в тревоге,
Кот и ухом не ведёт.

А вокруг бушуют громы,
Мир щетинится, как ёж.
То ли танцы, то ль погромы –
Что там в тренде, не поймёшь.

Не холера, не проказа,
Чем случайней, тем верней
Расползается зараза
Из китайских е...еней.

Кот сидит под синагогой,
Как архангел на посту,
И взирает жёлтым оком
На людскую суету.

Восседает монументом,
Словно в гости заглянул
Приглядеть за контингентом
Сам товарищ Вельзевул.

ТОЛЬКО Б ДУША ЕЁ НЕ БОЛЕЛА

Мне для себя ничего не надо.
Лишь об одном молю у предела:
Только б не мучилась та, что рядом,
Только б душа её не болела.

Что мне стихи мои, что мне песни?
Я повторяю одно и то же:
Все её беды и все болезни
Переведи на меня, о боже!

Что наши споры с ней? – Чушь, пустое!
Перемолчи, только зубы стисни.
Я для себя ничего не стою.
Я отрешился от этой жизни.

Я отрешился от всех желаний.
Делай, что должно. Приму без дрожи.
Освободи её от страданий,
Переведи на меня, о боже!

ФОТОГРАФ

Разбираю неторопливо,
Как сокровища, достаю
Потускневшие негативы –
Чёрно-белую жизнь мою.

Там, на плёнках, весна и солнце,
Там – улыбки, друзья, пиры,
Словно крохотные оконца
В недоступные мне миры.

Совершенства хотел достичь я,
Всё прицеливался, чужак,
Но не та вылетала птичка,
Свет ложился не так, не так.

Пересиливаю забвенье,
Извлекаю из темноты
Остановленные мгновенья,
Отвоеванные черты.

Как печальны они, как сладки –
Эти отблески бытия.
Отпечатана на сетчатке
Чёрно-белая жизнь моя.

ПАМЯТИ ИННЫ КЛЕМЕНТ¹

Что-то рассказывала взахлёб,
Рюмкою в такт размахивала,
Волосы свешивала на лоб,
Пепел на платье стряхивала.

Чудом слиняв от одной беды,
С маху влипала в новую.
Вихрь безоглядности, маяты
Нёс тебя, непутевую.

Как мы шатались по городам,
Вёрсты стихов вышагивали!
Пили в шалманах дрянной «Агдам»,
Души, как вены, вспахивали.

Как на Подоле крали сирень,
Жаркую, монастырскую,
Как стихотворные трень да брень
В гуще кофейной сыскивали.

Всё порывалась бежать, лететь,
Да небылицами потчевала.
Как-то в стихах огневую смерть
Ты себе напорочила.

Крымский загул да загорский скит –
Да поезда прощальные...
Сколько же лет, от какой тоски
Длилось твоё молчание?

Кто ты отныне – трава, звезда?
Как обожгла игла меня...
Будь она проклята, искра та,
Ставшая смертным пламенем...

* Инна Клемент (1950-2001) – харьковская-московская поэтесса. Трагически погибла во время пожара, когда сгорели также почти все её рукописи.

Я – НИГДЕ, КРОМЕ ЭТОГО ТЕЛА. НО Я ВЕЗДЕ

Я – нигде, кроме этого тела. Но я везде.
Я распят на истории, на каждом её кресте.
В венах моих бродят мамонты и мустанги.
Я ещё не рождён, но уже старик.
Голос мой тих, но порой заглушает крик.
Я шаманю в яранге и полыхаю в танке.

Правая рука моя – в пламени на Майдане.
Левая – вмёрзла в лёд в Магадане.
Сердце моё в Освенциме из-под пепла поёт.
А в голове – слова Соломона: «И это пройдёт».

В каждом живом существе обитаю я.
С каждой смертью гибнет и часть моя.
А потому нет границ меж адом и раем.
Я б охватил весь мир, да не по уму.
Бог создавал себя по образу моему –
То-то Адама он вылепил разгильдяем.

Правая рука моя – в пламени на Майдане.
Левая – вмёрзла в лёд в Магадане.
Сердце моё в Освенциме из-под пепла поёт.
А в голове – слова Соломона: «И это пройдет».

ТЫ ОТПУСТИ МЕНЯ, ВРЕМЯ

Ты отпусти меня, время, в какой-нибудь век иной,
Где вслушиваться не надо в шорохи за спиной,
В век понаивней, чище, не скомканный суетой,
Не провонявший гарью и кровью не залитой.

Давай пропустим эпохи бунтов и перемен,
Века – недоразуменья, столетья – не-встать-с-колен,
Отбросим костры и зоны, холеру и прочий мор,
Мне хочется жить спокойно, не тратясь на этот вздор!

Найди мне эпоху лада, где прост и понятен свет,
Такую – без зла и яда, без войн и лихих побед,
Без фюреров и тиранов, без нечисти во властях,
Без монстров с телеэкрана и плебса на площадях.

Без атома с интернетом я, право, прожить бы мог.
Неужто во всей истории нету таких эпох,
Бесхитростных и безгрешных, не тянущих в жернова,
Таких, где можно укрыться ОТ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА?

Ты отпусти меня, время, в какой-нибудь век иной,
Где вслушиваться не надо в шорохи за спиной,
Бесхитростный и безгрешный, не тянущий в жернова,
Такой, где можно укрыться ОТ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА?

МУЗЫКА РУИН

Музыка этих руин – не Чайковский, скорее Бетховен:
Рушить, не слыша себя, из бороздки срывая иглу.
Ржавый кирпич нараспашку, и гроздь торчащих фиговин –
Додекафония, что ли? – и скрежет гвоздя по стеклу.

Тут был диван – я читаю по непокорёженным доскам
Пола – и грешные тайны ревниво хранил потолок.
Рухнули рыхлые балки, и словно написаны Босхом
Эти развалы извёстки, обноски и сбитый порог.

Здесь почивала гармония, и на обрывках обоев
Отсветы лампы настольной ещё не успели остыть.
Воет печная труба, как собака, в нутро мировое –
Шнитке, пожалуй! – и в окна повыломаны кресты.

Господи! Что ж это дееется! Чья это музыка свищет,
В каждой щели затеявая свою продувную игру?
Ах, как хотелось надеяться! Только голодная рыщет
Крыса, последние крохи в свою подбирая нору...

ОЛЬГА ИЛЬНИЦКАЯ
Одесса – Москва

ПОСЛЕЗАВТРА ПРОСНУСЬ НАВСЕГДА

Ознобом моим содрогнулся.
Дарован на веки вечные.
Приспущены веки сиреневые
не-по-че-ло-вечь-и.
Руки – что стебель хрупкий
в изгиб перелитые ваз,
вовсе не-че-ло-вечь-и,
срезанные не раз.
Ирис – цветок полёта
из прошлого в никуда.
Каждому встречному – воля.
Срезавшему – судьба.
Стрелой, что всегда без цели,
целился, видно, в вечность.
Девочка, цвет сиреневый,
беспечности бесчеловечность.

Из недр моих смиренных рубашек
я извлекаю атомный реактор.
Но следует искать иной предмет.
Вот амулет – хрустальный обелиск.
Вот гибкий пласт неясного геноза.

Я не о том...
Из рукава составы,
как из тоннеля, с грузом выплывают.
Куда? К кому? Маршрут их неизвестен.
Я только эксперт по составу грузов.
А ты приходишь, рукава рубашки
завязываешь в узел отношений.
Безрезультатно.
Веществом заботы меня –
сияющей, летящей, смешливой
мгновенно возрождаешь,
добрый Боже!

...но, чувствуя неторопливость речи,
я знаю, вечность быстротечна:
вот это небо быстротечно.
И это море быстротечно. И эти горы и леса.
И этот дядя быстротечен. И эта юная краса.
Младенец. Древняя старуха.
Всё только судеб суета.
Как ощутить вновь постоянство
горы далёкой Фудзиямы?
А моря Черного пространство?
А мирового океана пульсацию в зрачке скворца?

1.

Мир нуждается в моих шагах.
Говорит: «Побыстрее, поспеши»!
Тороплюсь, отвечаю: «Уже»!
А вокруг меня ни души.
И слова повисают зря.

Только злые три чёрных осы
слушают меня.
Словно мухи эти осы жужжат.
Но как пчелы они хороши.
И они неподвижны.
Лежат и не жалят,
а горят золотым.
И душа моя горит
лишь о том золотом.

2.

Так умираю, не спеша понимая –
накренились небеса, наблюдают,
когда в последний раз
вздохнешь и позовёшь.
Когда ни разу не шагнуть ни за что.
Вот и всё.

3.

Стынет слово на губах,
убывает в високосную весну.
Я сегодня ещё засну.
Я и завтра ещё засну.
Послезавтра проснусь навсегда.

Из сада чьи-то голоса,
скрипят качели.
И две капустницы
в окно моё влетели.
Я режу лук и слёзы лью,
я суп варю.
А из-под яблони в саду
доносится – люблю.

Смотрю в окно, а за окном
тот райский сад,
где яблоки для любящих,
созрев, висят.

МАМЕ

Я сегодня печалюсь вдали
от заботы твоей и любви.
Голос тих и рука холодна,
но огнём пригрозила простуда.
Плачет ангела флейта, покуда
я стою, замерев, у окна.
Вспомни, мама, как мы были вместе,
когда думала ты, что одна:
я дышала с тобой наравне,
ты не знала ещё обо мне.
Шар светящийся в золоте сада –
поздней осени знак. Значит, надо
отлететь, затеряться с листвой...
Спой мне песню, усталая мама,
спой мне песню, прощаясь со мной.
Молча с ангелом рядом стоим,
как мне быть, мы давно знаем с ним.

восьмерка – бесконечности число
с небес на землю ливнями стекло,
где женщина взломала грудь мужчине
но не крылом, а остриём ребра
по негуманной, в общем-то, причине.

МИХАИЛ КРАСИКОВ
Харьков

Даже
самый
горячий
чай –
остывает,
а любовь –
вопреки физике –
порой
становится
горячее.

ЗАКОНОМЕРЗОСТЬ

Невмоготу дышать,
когда закон – что дышло.

С л о в а р н ы й з а п а с –
вот и всё, что скопил
на зимние-зимние дни.

В ящик почтовый
намело снега.
Читаю письма Зимы.

СКОРОГОВОРКА

Брежит Бардо в бардовом Бордо.

Просыпаясь,
распахиваю глаза,
словно занавес:
– Ну, здравствуй, Зритель!

С поэтами районного масштаба,
конечно, я б прображничал всю ночь,
когда б меня не ждали за углом
Камюэнс, Пушкин,
Гёте и Шекспир!

Мы спим с тобой
под одним одеялом
небес,
не бес-
покоюсь о том,
сколько между нами
км.

В ОЖИДАНИИ НЕОБМАННОГО ЧУДА (Постюбилейное)

Всю жизнь жалею, что не был её учеником. Когда я учился на втором курсе филфака Харьковского университета, нам объявили, что каждый должен записаться в научный семинар, выбрать тему и руководителя для написания курсовой работы. Ребята быстро сориентировались, а у меня глаза разбегались: хотелось заниматься всем и сразу! Меньше всего привлекла тема «Герой пушкинских лирических циклов 1920-х годов» (или что-то в этом роде), предложенная доцентом Пединститута Никипеловой: почему-то показалось, что это – для тихих старательных девочек. Но когда я увидел и услышал Нину Александровну в коридоре нашего старинного филфаковского здания, меня неудержимо потянуло к ней: я понял, что *нужно выбирать не тему, а руководителя*. Увы, у неё уже был аншлаг, и меня отправили к другому преподавателю, т.к. тому тоже нужна была «нагрузка».

Но не могу сказать, что я не стал учеником Никипеловой. Нина Александровна с той первой встречи в 1977 году для меня – образ Настоящего Филолога, Учителя и Человека.

Её улыбка – сродни серебряковской на знаменитых автопортретах художницы, а глаза излучают такую доброту, что ты даже представить не можешь, что эта женщина в состоянии кому-то поставить двойку или сделать замечание, даже в очень тактичной форме.

Но главное – речь! В полуторамиллионном Харькове едва ли найдется 5 человек, столь безукоризненно владеющих русской речью, как Нина Александровна Никипелова. Любое её высказывание содержательно и изящно, как рисунок пером. А любое выступление на публике всегда настолько композиционно продумано и гармонически совершенно, что напоминает музыкальный этюд или стихотворение в прозе.

Статьи Никипеловой хороши. Однако Нину Александровну надо **слышать!** Её интонации не актёрские, но в них бездна живой игры нюансов, они немного учительские, но не учительные, и в них безграничная нежность ко всему и ко всем, о чём или о ком она говорит и думает. Голос её завораживает

настолько, что она могла бы с успехом проводить сеансы психотерапии. Да, впрочем, такими «сеансами» и являются её выступления на литературных вечерах: усталость, раздражительность, подозрительность, злоба, озабоченность житейскими проблемами уходят из душ слушателей и, кажется, не вернутся, пока звучит в них этот голос.

Выступая, она всегда волнуется, как Наташа Ростова перед первым балом, и этот трепет душевный (сообщающийся публике) – не от ораторской неопытности, а от смущения: как выносить интимное, продуманное и пережитое, на чужой суд, а главное – на суд классиков, которым, как она подозревает, не в последнюю очередь адресуются суждения литературоведа?

В ту первую встречу поразила её «нездешность». Одетая она была совершенно заурядно – «по-советски», но мысленно я её сразу увидел бестужевкой с известных картин и фотографий конца XIX – начала XX столетия. Впрочем, не только временная нездешность сквозила в её облике. Эта женщина казалась и из другого пространства. Впоследствии выяснилось: юность Нины Никипеловой прошла на Волге. Кто знает, может быть, ширь великой реки, питавшая её зрение, расширила сознание и душу «фиалочки с филфака»?

Не удивительно, что она стала чеховедом: то же обаяние истинной интеллигентности, те же врожденные скромность и стеснительность, естественный демократизм и столь же естественное бескорыстие, тот же дар человечности и то же бережное, щепетильное отношение к слову, что и у Антона Павловича, – у его харьковской почитательницы. На самом деле только кажется, что исследователь выбирает себе автора и тексты для изучения. Ничего подобного! Это Автор или само Произведение «высматривает» себе Понимателя-Воспринимателя: ведь нужно какое ни какое, а известное равенство душ! Ну, и владение словом, разумеется...

«Высмотрел» Никипелову (уже посмертно) и Борис Чичибабин, и это тоже была, конечно, не случайная, а провиденциальная встреча. Предельная искренность, честность и пушкинская безоглядная влюблённость в жизнь роднят Поэта и исследующего его творчество литературоведа.

Однако самым родным Автором для Никипеловой была и остаётся Рената Муха, её Реночка, полувековая дружба с которой вовсе не предполагала все это время «исследовательского подхода» к творчеству подруги. Необходимость осмыслить поэтическое наследие автора стихов «для бывших детей и будущих взрослых» появилась у Нины Александровны уже после ухода из жизни Ренаты Григорьевны. Меня вначале удивило, что в ответ на просьбу написать воспоминания о Мухе Никипелова прислала филологическую статью о ней. Но потом я понял: если жизнь поэта – его стихи, то самый адекватный рассказ о нём – не житейские случаи, а рефлексия по поводу жизни его стихов. И тут, как всегда, Нина Александровна осталась верна своему призванию Филолога.

В одной из статей о Мухе она пишет о том, что ожиданием чуда пронизан весь поэтический мир Ренаты. Каждый раз, идя на встречу с Ниной Никипеловой, я ожидаю чуда. И за 44 года знакомства не было случая, чтобы мои ожидания не оправдались. В ожидании необманного чуда перечитываю я и книгу её тонких и мудрых статей «От Чехова до Чичибабина» (Харьков: Эксклюзив, 2015) – столь необходимую именно сегодня, в эпоху всяческих симулякров. Книга была издана к большому юбилею автора. В прошлом году был еще больший юбилей. Но юбилеи проходят, а чудо – в данном случае – остаётся.

АЛЕКСАНДР ЩЕДРИНСКИЙ

Одесса

я – просто звук. молчанье тишины.
я – вакуумный шум пустых кварталов,
оставленных квартир, глухой вины,
которой всем нам очень не хватало.
я – камень, что был брошен, но не смог
дна отыскать. я – свист, зависший в вышнем.
я – лезущий во щели древний смог,
что вытурил всех тех, кто здесь был лишним.
я – нота на поломанном веку,
хрипящая в зажатом пальце флейты;
иглочка в авгиевом стогу,
что не звенит о колос, сколь ни бей ты.
закрытый рот и выловленный крик,
младенец, что задавлен был в утробе.
так, милая, истратив сотни книг,
сказать не смог я, быть свободным чтобы,
что ты – есть всё, что господом дано
и человеком отдано огранке.
моё немое ветхое кино –
посланье для тебя как иностранки.
но ты молчишь совсем не так, как я.
молчишь ты свысока упругих связок.
любое слово – правда бытия,
как музыка под ритм новояза.
ты можешь говорить, но ты – молчишь,
и, соразмерясь с утренней картиной,
звенит в ушах пространственная тишь
последствием упавшей гильотины.

прости за эту безграничность,
бессмысленность и безнадежность
моей любви, где тонет личность
в каком-то сумраке таёжном.
и не найти уже мне права
на лёгкое существование,
навечно вбитому в оправу
чужого жизнеобладанья.
безвольность – нет. и слабость – вряд ли.
скорее безразличье мысли.
люби, убей – душа лишь в пятки
уйдёт, всю игру жизнью.
я камень – я на чьей-то шее
то изумруд, то средство казни.
и я любить, дышать не смею
во всём твоём благообразье.
тряси меня тряпичной куклой,
выкалывай зрачки, под пальцы
втыкай иголки – я окуклюсь
и выпорхну в крылатом танце,
который запретишь мне сразу
за полукруг до пируэта,
не дав расширенному глазу
сфотографировать всё это.

если я не вернусь, сохрани хоть следы у двери,
отражение в зеркале под покрывалом, внутри.
«сохрани мою речь», «сохрани мою тень» – это их.
от меня сохрани же хотя бы единственный стих
на стене моей родины, замкнутой на этаже.
в этих шторах, обоях, картинах твоих в неглиже.
сохрани, как в коробочке ветхую древнюю жизнь –
как жучка, что, казалось, конечно же, не убежит,

только всё ж убежал – куда усики ветра ведут,
на какой-то вокзал, на какой-нибудь южный редут,
хоть в одессе сдаётся – южнее уже никуда,
только есть и южнее, и есть и другая вода.
если я не вернусь, то в проёме храни пару слов,
когда я говорил, что приду на картошку ли, плов.
сохрани этот одеколон, что подарен тогда,
когда юность вступает в начальные только года.
сохрани что-нибудь. не могу ни сказать, ни вздохнуть.
держит память теперь обо мне только старая ртуть
подоконника, что измеряет всё время с тех пор,
как тепло моё переместилось туда, за бугор.
ты – священное нечто, ты – главный свидетель того,
что я был. сохрани же себя и в моё рождество.
сохрани, покажись и продлись в колыбельке ночной –
чтобы что-то осталось ещё за тобой и за мной.

наш мир вторых захватывает плоскость
планеты, ускоряя обороты.
как раньше мы, что куколки из воска,
так долго ожидать могли кого-то.
впервые губы встретились с губами,
и зашаталась комната в хрущёвке.
так, верно, два авто, столкнувшись лбами,
ведут игру на мыло и верёвку.
и мы, вторые, ходим по проспектам,
всё так же обнимаемся и жмёмся
друг к другу по углам, едим конфеты
и на постелях радостно смеёмся.
но всё-таки нутром не забываем,
дрожим, как лист, в отчаянном порыве,
что, словно номер в сумрачном трамвае,
мы, как ни бейся, всё-таки вторые.

– а где ты, моя первая, родная?
тебе не холодно ли без моих объятий?
я помню май и послевкусье мая –
как много их прошло по шлейфу платья.
– ну где ты первый мой. она теплее ль,
чем на твоих щеках мои ладони?
я помню шелест каждого апреля,
что спуска полуночного бездонней.

но мир вторых захватывает плоскость.
так, искажаясь, рушатся осколки,
и мы бежим по коже отголоском
упавших фотографий с верхней полки.
и мы встречаем утром каждый поезд,
чтоб распахнуть вагон сквозь двери рая.
но слишком поздно. слышишь. поздно. поздно:
второй. второй. вторая. да. вторая –

выходят, окружая эту бездну.
а я не сплю. я поджигаю ноги
к груди. и в телефоне «неизвестный»
стучит, как в телеграфном эпилоге.
фонарь горит. ночь. улица. аптека.
слетают капли, острые, сырые,
и делят мир на четверть человека –
за то что мы, любовь моя, вторые.

выйти вечером весенним
лёгкой влажности навстречу,
словно для стихотворенья
и придуман этот вечер.
поглядеть в глаза собакам,
в лица надцатым проходим –
и увидеть там сто знаков,
на спасение похожих.

долго думать над загадкой
снега позднего в апреле.
как слоёную тетрадкой
письма прошлого сгорели.
чуть вздохнуть, взглянуть на небо –
было как-то ведь иначе:
выйти вечером за хлебом
и узнать, что ты не плачешь.
обещать обнять за плечи,
обещать прийти – чуть позже.
жаль, что дольше ждать, чем вечность,
эта женщина не может.
жаль, что мир не может вечность
ждать решенья общей драмы,
порождённой человечьем,
погребённой эпиграммой.
так, стоять теперь, как будто
это просто повторенье –
симулякр. масса брутто
с лишним сверху опереньем.
словно это несерьёзно,
лишь игра в былую правду.
что стою я, в небе звёздном
отыскав себе награду.
я стою, когда на кухне
ждёт другая, что наивно
так же любит, так же рухнет,
если я её покину.
только я её покину.
и куда тогда мне деться?
промотать кинокартину
от предательства до детства.
всё сменяется, и только
неизменен и виновен
я на жизненных осколках –
переломан, неустроен.

хватит ли мне бега в мыле,
чтоб проститься достоверно
всеми ими, что любили
так, как я тебя, наверно?

читая хороших поэтов, всегда хочется дойти до конца
как можно быстрее – чтобы быстрее изучить предмет;
анализировать: вот, здесь поэта взяла ленца,
а вот здесь, к сожалению, смысла и вовсе нет
за покрывшим дольником – адвокатом плохих стихов.
а вот здесь – повторенья – кстати, уж не впервой;
здесь чересчур навязчив сюжет богов,
что проходит, как красная линия над невой.

и вот так, изучая поэтов за годом год,
ты увидишь, что, в общем-то, в чём-то и ты силён:
например, он не умеет в паузу. не умеет вот –
и хоть ты убейся, и тут таких миллион.
он не умеет так, чтобы до конца
от начала – единый и душу трясущий накал.
но зато умеет писать каждую часть лица –
и этому можно учиться, пока ты мал.
потому что потом авансы на возраст пройдут,
ты станешь совсем уж взрослый большой поэт.
а потому постарайся хотя бы в этом году
сказать: у меня таких недостатков нет.

поэзия – шахматы. изучаешь прошлых – вжих –
вникаешь в партии, ищешь ходы впервой.
а потом понимаешь: гениальность – это тридцать чужих
и семьдесят – твоего. вот тогда – герой.
переработав каждого, смотришь: а что ещё
может сделать тебя недосягаемым, человек?
и понимаешь: ничто. ведь конечный счёт –
это то, что устанавливает не игрок, а век.

взаимосвязей нет. и ты случайно,
и я случайно были на земле.
и смерть давно для нас уже не тайна,
а результат, пришедший во хмеле.
скрипит вагон, и на ветру курносо
влетают капли в стылое окно.
текут артериально и венозно
потоки, словно кадры из кино.

раскатист гром, и где-то между делом
грядущий полк выходит из траншей.
жизнь – просто механизм мясного тела
со сказкой о бессмертье и душе.

и ничего оплакивать не надо.
мы были здесь. ты смысл определи.
придумай утешенье и порядок
для тех, кто сзади нас идёт вдали.
пусть думают, что всё не бесполезно.
что есть любовь, и боль не просто так.
пусть бога нет. но есть строка и песня,
с которой легче шествовать во мрак.

ЕЛІНА СВЕНЦИЦЬКА
Київ

І душу, кинуту тілом, нікуди на забирають,
Так і стоїть у куточку, розгублена і бліда,
І бачить, як там, за містом, сірі вовки блукають,
А з неба ллється і ллється холодна гірка вода.

Душа, покинута тілом – немов шпаченя під снігом,
Там мерзне тихе коріння і мертвий коник лежить.
Йдучи в дальню дорогу, тремтять останні хвилини,
Світло позаминуло там на горищі спить.
А цей барак карантинний був колись її домом –
Там тепер тільки яма і тополя суха.
Ось тобі й маєш – вічність... просто хирлявий холод,
По світах-сиротинцях промінь сліпий блука.

Наше повітря – сирітство. Наша вічність – в сараї,
В душі, покинутій тілом, ворухиться тепла кров.
А ця замацана скрипка – наша зрадлива пам'ять,
Ці задрипані шати – наша зрадлива любов.

...і ось – мене залишили в кутку,
в сумній місцині, де коріння дому,
що вирване з землі, зростає вгору,
і загортається в кору тверду.
Зима без снігу і суха трава,
там три мої поношені футболки
сплять на цвяху, і втрачені три голки,
не мотлоху – майбутнього гора
і черствого минулого обрубки,
душа на дні хиткої душоубки,

і гілка відкривається нова,
залізна гілка чи то залізнична,
і їхати нам треба швидше й швидше,
і ґрунт повзе, й палає голова,
але мене залишили в кутку,
і мрія стала листячком осіннім,
і я з кутка, мов дерево, расту
з усім моїм похміллям карантинним,
і кожен день – моє бездомне свято,
аби слова за хмарами шукати
й не знаходити нічого,
крім любові.

Море забрало мій дім, скалки лишило й простуду,
Море, візьми й мене в хмарну твою глибину,
Там по байдужих вулицях ходять душі прибудні,
Тихі провулки сплітаються там в лабіринтах сну,
Там, у печерах пам'яті, риби важкі, як спомини,
Там, у печерах пам'яті, темрява і зола.
Край це вічного вечора, а задушливі ночі
Нашої безпорадності тягнуться спроквола.
Тільки дерев останніх зморщені скручені руки,
Злою водою просякнута мертва моя блакить...
Жити було ще рано, жити вже стало нудно,
Поки не стало пізно...серце чогось болить...
Море, візьми мене і серце моє скарлючене,
І все, що від мого дому лишилося на межі!
Дивний-предивний світ, дивні слова летючі –
так і не зрозуміти, до чого, до чого чужі.

Рік новий насувається, подорож в місто дитинства
наближається, котяться хвилями співи злиденних пісень,
там слухняних дітей по ялинках на свято повісять,
вони кульками будуть дзвеніти в повітрі весь день,

розіб'ються вночі... Там лишився кістяк від ялинки,
мішура прикрашає оселі проломлений дах,
наче змії, гірлянди навколо горлянки сплелися,
і прокрустові ліжечка наші порожні стоять по кутках.
Там, у місті дитинства, стоїть одоробло провини,
діти квітів, схилили ми голови п'яні в траву,
чарували нас пахощі пива, заліза і диму,
там, у нутрощах мертвих, шукали ми душу живу.
Це щасливе життя розкидає від іграшок скалки,
паперові сніжинки ховають занедбаний час,
і кинджали зелені впиваються в обрії наші,
і зеленими голками душі проколоті в нас.

...ординарна, обачна війна –
нецікавий випадок...
виростають нові серця
нашим сиротам в спадок,
в світлі мертвому ліхтарів
сплять покинуті діти,
щоб, як страуси, мозок свій
у бетон схоронити.
у потоплених кошенят
зникли мати і батько,
і наш затишок – це шпиталь,
наша розкіш – жebraцька.
по забутому смітнику
ходять душі підпільні...
косять, косять важку траву
косарі божевільні.
тільки й музики у житті,
що «швидкої» сирени,
їдуть вершники без голови,
йдуть у смерть як на сцену.

всередині кожної поетки
є маленьке містечко
там ящірки жовтоокі
живуть у хатинках з суріпки
живуть у журбі і злагоді
пісні співають тихенько
всередині кожної поетки
тваринок різних занадто
і снів, у яких кімнати
сумнівні і вовчий вітер
це просто така вже доля
шукати й на вітер кидати
слова, що пливуть у небі
загубленими човнами
чи то аркуші наших книжок,
чи то човники білі в калюжах –
і вже на роботу йдуть
читачі – наші друзі байдужі

Що нам шепоче траурний целофан?
Чия душа в повітрі летить, мов рваний кульок?
В поле виходить пам'ять, мов Мінотавр,
по-над вокзалом пустим лунає тяжезний крок.

Стало все другорядним, а особливо – біль,
місто стало як міст, міст вкрутився в пітьму,
тільки мрії зростають, мов отруйні гриби,
мрії женуть нас на нову позабуту війну.

Ми стали бруківкою вулиць, розбитих вщерть,
Чи калабанею з позавчорашніх слів.
Стане днем пам'яті кожен прожитий день,
Тільки пам'яті менше, ніж лишилося днів.

Пам'ять з своїх лабіринтів війною на нас іде.
В небі цих лабіринтів сморід, гамір і щем.
І час нам скоро відкриється – весь, як є.
І час нас скоро відкриє – як мушлі, ножем.

У переповненій в'язниці
життя свою читає книгу,
кричать, кричать пропаші гуси
посеред миру і війни,
і сором встав, неначе місяць,
і небо наскрізь стало видно,
і наші долі зашкарублі
та засмальцьовані пісні.
Ніхто не знає, як боліє
всередині зіниці скельце,
від дзеркала, що білим світом
папуги чорні понесуть,
землею пахне і чорнилом
у шостий рік війни чи миру,
і не повернеться дитина
з країни, де хрести ростуть.
Ми вийшли з ночі і пирію
у сотий рік війни і миру,
тут тільки ямки, щоб сховати
провини, що з кісток стирчать.
У переповненій в'язниці
я вірш пишу тобі, дитинко,
пишу тобі цей вірш останній,
і гуси над життям летять.

Минуле, минуле, до себе пусти,
переночувати пусти на горище,
бо бачиш – вершники без голови
заповнили вулиці міста,

амброзії й роз пом'яті кущі,
загони летять за святою оманю...
...ти знаєш, ті вершники без голови
були сусідами, тіткою, мамою...
А за містом стара миловарня,
там живуть зниклі душі і вітер,
там стоять казани залізні,
і в них вариться наша доля,
і в них вариться наша сила,
і біленькі шматочки мила,
духмяного свіжого мила,
розповзаються по країні,
що країв не має, бо змили...
ти, минуле, білою кров'ю
розливаєшся вдалині,
і архангели в чорних робах
тягнуть нас по шпiтальній землі.

не любов – шершава тваринка,
я її годую водою з цукерками
й помаранчами білими,
розлогими і духмяними.
не любов –
а просто горобчик
оселився в серці й клює,
м'ясо тепле, м'ягеньке,
здається, смачне,
бо голодний.
не любов – просто сиплеться в очі пісок
і ящірка шкіру скидає,
і вітер шкіру уносить.
не любов – а душа
розфарбованим папірцем
летить у повітрі.
не любов –
просто дерева райського

МАКСІМ БАГДАНОВИЧ
МАКСИМ БОГДАНОВИЧ
(1891-1917)

ВЕРАНІКА

Ізноў пабачыў я сялібы,
Дзе леты першыя прайшлі:
Там сцены мохам параслі,
Вясёлкай адлівалі шыбы.
Усё ў пылу. І стала мне
Так сумна, сумна ў цішыне.
Я ў сад пайшоў... Усё глуха, дзіка,
Усё травой зарасло.
Няма таго, што раньш было,
І толькі надпіс «Вераніка»,
На ліпе ўрэзаны ў кары,
Казаў вачам аб тэй пары.
Расці, узмацовывайся, дрэва,
Як манумент жывы уставай
І надпіс к небу падымай.
І к небу надпіс «Вераніка»...
Чым болей сходзіць дзён, начэй,
Тым імя мілае вышэй...

1913

Перевод с белорусского Бронислава Спринчана

Я вновь увидел то селенье,
Где годы первые прошли:
Тут стены мохом поросли,
В глазницах окон – отблеск тленья,
Покрылось пылью всё. И мне
Тоскливо стало в тишине.
Я в сад вошёл. Всё глухо, дико,
Всё то, что было здесь, – прошло,
Травой забвенья поросло.
И только имя «Вероника»,
Что вырезал я на коре,
Напомнило о той поре.
Расти, укореняйся, древо,
Вздымай, как памятник живой,
Ты эту надпись над землёй
И вечные слова напева:
Чем цепь минувших лет длинней,
Тем выше след любви моей.

FRANTIŠEK HRUBÍN
ФРАНТИШЕК ГРУБИН
(1910-1971)

перевод с чешского
Владимира Яворовского

Ещё не осень!
Если я терплю, как осень терпит лужи,
Печаль былого бытия,
Я знаю: завтра будет лучше.

Я тыщу планов отнесу
На завтра: ничего не поздно.
Мой гроб ещё шумит в лесу.
Он – дерево. Он нянчит гнёзда.

Я, как безумный, не ловлю
Любые волны. Всё же, всё же,
Когда я снова полюблю,
Вновь обезумею до дрожи.

Я знаю, что придёт тоска
И дружбу, и любовь наруша,
Отчаявшийся чужака –
В самом себе я обнаружу.

Но в поединке между ним
И тем во мне, кто жизнь прославил,
Я буду сам судьёй своим.
И будет этот бой неравен.

БОРИС РЫЖИЙ (1974-2001)

Прежде чем на тракторе разбиться,
застрелиться, утонуть в реке,
приходил лесник опохмелиться,
приносил мне вишни в кулаке.

С рюмкой спирта мама выходила,
менее красива, чем во сне.
Снова уходила, вишню мыла
и на блюдце приносила мне.

Патронташ повесив в коридоре,
привозил отец издалика
с камышами синие озёра,
белые в озёрах облака.

Потому что все меня любили,
деревя молчали до утра.
«Девочке медведя подарили», –
перед сном читала мне сестра.

Мальчику полнеба подарили,
сумрак елей, золото берёз.
На заре гагару подстрелили.
И лесник три вишёнки принёс.

Было много утреннего света,
с крыши в руки падала вода,
это было осенью, а лето
я не вспоминаю никогда.

ПОРТРЕТ В ЧІРНОМ

АЛЛА ПОТАПОВА

Київ

(1933-2021)

СТИХИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Шість ежат
В траве шуршат,
К маме
Шість ежат спешат!

Семь карасей
Поймал рыбак –
И в речку выпустил,
Чудак!

Божья коровка
По лугу гуляет
Божья коровка
Дороги не знает.

– Дом, – говорит, –
Отыскать не могу,
Что-то не пахнут
Цветы на лугу!
Как ей понять,
Что и луг и ромашки
Бабушка вышила мне
На рубашке!

Ко-мар ле-тит,
Ко-мар зу-дит:
– Ни там, ни тут
В друзья не зовут.
Говорят, невелик,
Ни орёл, ни кулик,
Говорят, простота,
Ни когтей, ни хвоста!
Я обиды не прощу,
Я всех угощу!
Летит,
Зудит,
На всех
Сердит!
Ай!

Лягушата на рассвете
Расшалились словно дети!
По болоту
Прыг да скок –
Скачут вдоль и поперёк!
Перестаньте, шалуны!
Ваши спинки
Всею видны!

Цапля ходит по болоту,
Живо слопает кого-то.
Цапля, цапля, погоди
Мы бежим,
А ты – води!

На леса и сады
Ночь пришла не спеша,
Уложила сверчиха
В постель малыша.
– Засыпай, мой сынок,
повернись на бочок.
колыбельную петь
будет папа сверчок.

ПРО СОБАКУ

А собаке всё равно –
Что светло,
что темно.
Что цветы,
что снег со льдом –
Стережёт собака дом.

У неё сердитый бас,
Если сердится на вас.
А подружитесь вы с нею –
В мире друга
нет вернее!

Кот боится
Простудиться –
В шубе
Даже спать ложится!

Два бельчонка
На опушке
Сколотили
Две кадушки.
Две кадушки сколотили,
Прямо к дому прикатили.
Положили в бочки
Мятные листочки,
Красную бруснику,
Чёрную чернику,
Клади понемножку
Жёлтую морошку,
Заквасили про запас –
На морозы
В самый раз!
– Эй, бельчата!
Как-нибудь
В гости можно заглянуть?
А бельчата – скок да скок
На утёк!
Дверь закрыли на крючок
И молчок!

СВЕТЛАНА ИВАНОВА

Киев

(1946-2021)

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ

Сидела впереди меня
и позволяла списывать.
Мысль, колокольчиком звеня,
пришла: влюблён неистово.
Однажды твой портфель поднес,
набравшись мнимой смелости.
Признание бурчал под нос,
сдувал пушинки белые.
Рукой крутила вдоль виска,
как будто сумасшедший я.
С неубывающей тоской
вновь тереблю ушедшее.
Пылали щеки. Взгляд мутнел
и становились ноги ватными...
Ушла любовь (судьбы удел),
как детство безвозвратное.

Черствеет ли душа?
Скупы любви дожди!
Я, строчками шурша,
зову тебя: «Приди!»

И ты ко мне пришёл,
как вешняя вода.
С тобой мне хорошо,
с тобой я молода.

И ты, как дождь, не скуп,
но почему-то злой,
и я срываю с губ
солёный поцелуй.

Продляя счастья миг,
«люблю», - тебе шепчу...
И ты к груди приник,
и лащусь я к плечу.

Обещаю, не сделаю глупости,
все условности буду блюсти,
отодвинусь подальше от пропасти...
Если чем-то обидел, прости!

Как себе, ты мне можешь довериться,
в сердце тайну любви сохраню.
Как Земля вокруг солнца вертится,
так и я себя не оброню.

Восхищаюсь твоею стыдливостью,
что свела меня напрочь с ума.
Обещаю, ты будешь счастливою,
если жизнь не испортишь сама.

И.К.

Рафинадом в воде
растворились года.
Я – ничто. Я – нигде.
Я бреду в никуда.

Я так много прошёл
и так мало успел,
и моё «хорошо» –
лишь убогий удел.

Я бреду в никуда
и влачу бытие.
На душе пустота,
чем заполнить её?

Уводишь в грёзах за собой
по невесомой лестнице.
Хоть звёздочки снуют гурьбой,
спешу к тебе кудесница.

Как на качелях мы с тобой
На рожках полумесяца.
Плыву взлелеянной мечтой.
На землю опуститься бы!

Ты остаёшься за чертой
Вспорхнувшей птицею,
А я кричу во следб «Постой!»
Мне с участью смириться бы...

Во сне не оглянулась даже
Моя любимая пропажа.

У тебя не скисает вино,
Не заводятся новые вещи.
Сиротливо мигает окно,
И являюсь я, словно сон вещей.

Трезвый – злой, захмелевший – добряк,
И не знаешь, куда посадить.
От спиртного, как ломтик обмяк,
И решил: час любви позади?
Парус твой всё ещё на плаву,
И несёт тебя ветром попутным...
Спросишь Бога: «Зачем я живу?»
А в ответ: «Чтобы встретиться с утром,
Обновлённым шагнуть на порог,
В кулаке удержать силу воли».
Ты скажи себе твёрдо: «Я смог
Не предаться хмельному раздолью!»

Отцу Е.И.

Опять глумится случай надо мной,
И я теряю почву под ногами.
Как резко зашатался шар земной,
Слабеющие нервы напрягая!
Опять усталый ангел задремал,
Но не забыл, как служится в охране,
Когда под мушкой ходит экстримал,
Больной душе отказывая в храме.

Вике К.

Жизнь – метель замела
Все тропинки к тебе.
Я кружусь, как юла,
По шершавой судьбе.
Ты юлу покрути,
Вместе с ней покружись,
Чтоб вдвоём прокутить
Эту самую жизнь!

ЕЛЕНА ГО
Харьков

Оливковые деревья.

Бамбуковые леса.

«Мама, папа, смотрите, я делаю это сам».

Мам, посмотри, после стольких дней жизнь моя стала soft –
я иногда говорю в людей, в лицо мне светит софит,
и мой друг говорит мне, что никто другой так, как я, не говорит...

Папа, помнишь, как ты за мою профессию переживал –
так вот, я рисую, как и учился, и за это мне платят нал,
а ещё я джемлю с теми, кого в телевизоре ты видал...

Иногда в моей жизни случается так, что мне аплодирует зал.

Смотрите-смотрите: я стал тем, кем вы мечтали, чтобы я стал.

Как свет неба ночного в созвездий растр растёрт,
то, что вы засевали, насквозь меня растёт.

Я не чувствую времени, веса, добравшись до здешних «высот»...

Тот, кто не в курсе контекста, думает, что мне крупно везёт...

Пусть так, не важно, смотрите как красиво здесь всё!

Оливковые деревья.

Бамбуковые леса.

«Мама, папа, смотрите, я делаю это сам».

Я говорю-говорю, а некому посмотреть –
есть одно обстоятельство: нас разделяет смерть.

Матери нет уже десять лет, отца нет уже три...

А я всё не унимаюсь: «посмотри, посмотри!
это же ваше – вам бы эти плоды пожинать!»

Но два тела под иберисовым покрывалом лежат.
И мне так жаль, мне так бесконечно жаль,
Что даже, если б потух от потуг, лоб в поту, –
не вызрел бы раньше. А теперь в пустоту...
И некуда долг свой отдать...
Оливковые деревья.
Бамбуковые леса.
«Мама, папа, смотрите, я с этим собою сам».
Я стою один среди огромной бурной реки.
Лики из прошлого говорят: «цели твои велики»
Шарю взглядом по сторонам – остановить не на ком.
«Не пытайся как кубик Рубика. Перейди Рубикон».
И я перестаю вскидывать глаза в небеса –
таким, какой теперь есть, я ведь хотел быть сам.

Оливковые деревья. Бамбуковые леса.
Таким, какой теперь есть, я, и вправду, хотел быть сам...

Совершенно отчётливо, совершенно ясно:
ваши жертвы не были напрасными –
то, что внутри меня теперь сделалось твердью,
неисчерпаемо даже смертью.
Оливковые деревья. Бамбуковые леса.
Сердце видит дальше, чем могут видеть глаза.

Как янтарен воздух, когда напоён тишью,
когда стебли едва поскрипывают как тишью*,
когда доносится гулко и глухо
сплетённое жужжание далёкого луга,
когда травы, смятые загорелою кожей, хмелят,
колко-нежны как мохнатое брюшко шмеля,
когда горизонт разливом опаловым смазан...

я роздан по кусочкам, как мозаика, как пазл –
оцени-ка:
нет ни единого человека в ком
был бы я заключён целиком.

* Тишь – очень тонкая папирусная бумага, которая в основном используется для наполнения коробок с подарками.

Ангел едет в метро. На работу ангел идёт.
Ещё только вчера отсверкал отгремел Новый год.
Ангел видит сквозь поток разномастной толпы –
уборщик сотен ног стирает следы.
Улыбается ангел: «я не знаю твоей стороны.
Я не знаю твоих нужд и твоих забот,
но прошу пусть Всевышний тебя с любовью ведёт
и хранит, независимо по эту ты или по ту»...
На спине уборщика: «спасибо за чистоту».

Говоришь: «я буду смиреннее пыли,
посмотри, от чего отказался – не оценить это небу ли?»
– «Нас оценят по тому, кем мы были,
а не по тому, кем мы *не* были».
Это несгибаемо, это из стали:
не будет славы за то, кем мы не стали.

Мать ей шепчет: «помнишь ли ты о „возлюбил“?
так вот, ни в коем случае вслух об этом не говори –
едва произнесёшь, толпы голодных у твоей двери
соберутся, готовые тебя обглодать...»

Мать ей шепчет: «я сейчас совсем не о зле,
а о том, что этот голод их обращает в зверей,
и, кто тронул живое, рискует жизнью своей,
не способный то, что им нужно, дать...»
Дочь кивает, покуда голос стоит у неё в ушах.
Открывает дверь.
Делает шаг.

Он движется по излому событий, глядя на их аллели,
замечая вскользь, как за эти дни поалели аллеи,
как блики фонарного света, на асфальте с пятнами спят,
и становится свят в момент, когда забывает, что может быть свят.
Он заготовил так много слов, что сказать: «не живите как тля»,
но, добравшись, увидел – здесь некого просветлять.
Некого просветлять, в каждом и так свет.
Он сказал: «воспоём хвалу, в ином необходимости нет»,
и каждый, кто ожидал его прихода с прашой,
встретившись глаза в глаза прочёл: «ты прощён».

ИННА ШИЛОВА
Харьков

В окне всего-то несколько птиц, голосов и подруг чужих,
добывает себя апрель, допивает своё мужик...
Вот сейчас она полежит, встанет, духом как соберётся,
и предложит ему одну из остывших порций –
тут, сама, говорит, готовила я, старалась...
я отчётливо обозначила всю корявость
этих дней. Этих подоконников, книжных полочек,
почему все, кого мы любим, бывают сволочи?
И он скажет такой, до радости узнаваем –
мы ведь тоже бываем.

Штраф, бездействие, кофе кончился –
всё некстати и навалилось,
он, ну чуть ли не в плен захвачен,
вовсе, слишком не нарочит,
обдирая побелку веником, она
скрывает свою болтливость –
говорящую неудачу
даже когда молчит.
И сидит потом, как развалина,
в тишине неглубокой, спаленной
а он трезвый или напаленный,
чёрт его различит.

Проведёт его, ляжет навзничь,
не читает, не пишет – просто
и не плачет, чего реветь-то,
«корабли в моей гавани»
жечь, и думать о пиве на ночь,
пресловутых карьерных ростах,
можешь даже уснуть со светом –
только первая не звони.

Возвращаясь после большой любви
в маленькую квартиру
или в сырый общажный душ
или в угрюмый дом
будто во все и не болит, намертво закодирую
платье в пол, башмачки и тушь
боже с каким трудом

нам дают отпить из железных чаш,
дотянуться к яблокам и сорвать их
не искать ни поводов, ни ключей
после поговорим.
обречённая жечь свеча
догорает слепо в углу кровати
просыпаешься пуст, и вообще ничей
до ледяной зари

эта выжданная зима
по сердцам окружает глобус
ты снимаешь пальто в прихожей,
греешь ноги в большом тазу.
ты останешься в ней сама,
ты пройдёшь сквозь неё не горбясь,
не гордясь, ведь тебе негоже
среди зимы накликасть грозу.

Пеплу бабочек в животах
не предшествует боль и слабость
ты с колготками стянешь страх
из волос поснимаешь стыд,
это было уже – раз так,
значит что-то в тебе сломалось
не сожжённое на кострах,
не пригвождено во кресты

Он глядел на твоё лицо
когда думала – не приметит,
сквозь холодные губы, пряча их
если слышишь, останови.
в общем, сложно у мертвецов
на зрачках не увидеть смерти
даже если ты спишь горячая
на снежинке большой любви.

Здесь всегда было холодно.
Гололёд, исхудав, становился грязью или пустыней.
Здесь происходили все наши концерты сольные.
Приходилось ли выживать?
Приходилось на шрифте Брайля и на латыни
пересказывать душу, съеденную коврами и антресолями.

Чтобы вычесать влажный дым из волос
не хватает пальцев, не существует такого гребня –
можно только выменять на вещество
из того же запаха, очень даже нехотя.
Здесь навязчиво не обязывают ни к чему
благородному нежно крашенные деревья,
что покрыты теперь не снегом, а божьей перхотью.

Здесь я долго жила. Мне приятен был накипевший быт,
паутинный блеск моих ложек,
прирученных мной тарелок.
И раскаяться довелось только в том, чего не свершилось.
Тупели ножницы. Умнели дети.
Болели лбы молодых повес. И я тоже
здесь постарела.
Менялись только султаны и скороспелые их наложницы.

Но никому не отнять у местности
этой правды, упадка,
гордости о том, что она красива.
Вот я плыву по ней чёрной кляксой,
точнее сказать – курсивом.
Я растекаюсь ей по зубам, ну, горечью
не в глаза ж.
И безоговорочно сглаживаю пейзаж.

Земля чернела выброшенным шёлком
и снег её, как будто защищал
от разных ног, скользивших по утру –
кроссовки, ботильоны и ботфорты.
Снег плакал, был похож на медвежонка,
не подвергаясь взору, но нутру
он слепо прирастал к твоим вещам,
возобновляя чувство дискомфорта,
с которым ты тащила вдоль домов,
разверстых луж, расхлёбанных трамваев –
твой траур был всегда передаваем,
твой траур был всегда передовой.

Ты шла навстречу городу вдовой.
Ты тлела сквозь его необъяснимость.
Он подтверждал всё то, что тебе снилось.
Блуждающими нервами по кухне
сплетались чашки, волосы, дымы
и, путаясь в простынке, что щенок,
ты обнимала всё, что было мною.
Мир пятится и неизбежно рухнет,
убитым всадником падёт туда, где мы
лежим, не ощущая пальцев ног
распять, исковерканы стеною.

Я слышу, как ты ёжишься во тьме,
как надеваешь кольца или платье,
как не найдёшь колготки под кроватью,
как достигаешь паузы в уме.
Как говоришь со спящим о зиме
так, будто я и есть тот самый холод
к спине твоей булавкою приколот.

Но всхлип твой обращается в источник
всей черноты скупающих ворон:
Глазища – отрешённые, что стон
рабов. Белее хлопковых плантаций
камней горячих мягкий позвоночник
(и плачущая трасса за двором)

Да ничего не стоило отдаться
такому зверю. Я глядел в стекло.
Я должен знать какую-нибудь мессу,
что будет к «нерождению» уместна.
Лови и ешь, пока не утекло.
Мне становилось тихо и тепло.

Наушники – поворозочки
Маски – поворозочки.
Все на них тонких держится
и наши хрупкие косточки.
Малая медведица
привязана к большой
полой, широкой, плоской
кровоавой лапшой,
невидимой поворозкой.

Очередь всегда множится
длинной, модельно узкой
изобрети нам ножницы,
Боже, перед кутузкой –
как мы пахали допьяна
и просыпались трезвыми
нас по плечам похлопали
и перерезали.

плавил, обжигали нас
свежим, горячим воском
связок порежь нам каменность,
будто мы – поворозки
будто мы вечно спутаны
в тощих его карманах,
будто не нас зовут они
в шитых ранах.

Так ничего не поняли
коля, василий, влад,
чтоб оказаться броским –
на какой такой поворозке
держится мой халат.

Как далеко уедем мы
на тех, кто погибли пешими
кем они были съедены,
кто им скормил все розги,
на какой такой поворозке
их перевешали?

Не поседем с голоду,
видишь ли, не опухнем
мы говорим о ковиде
на кухне.
Ляжем потом прижмёмся друг
к другу бочком – щенята
будто с сюжетов смертей вокруг
не сняты.

Ближе к утру проснусь, взгляну
и обниму покрепче –
щек твоих спелую белизну
не изувечат.

страхом, отчаянием, болью гордою,
запахом тьмы громоздким
прижимаюсь нелепо во всю длину
связующей нас, неподлинных
поворотки.

Оставь меня, не приближайся
моя тоска,
Я не оставлю тебе шанса
меня искать.
Я стану есть сырую зелень
и чёрствый хлеб
твои глаза в меня засели
и я ослеп.

Я примеряю руку к чашке,
учусь ходить,
стараюсь подойти рубашке
и быть худым,
настолько чтоб, в ту ночь когда ты
меня найдёшь,
я мог быть лёгким и поддатим,
как летний дождь.

Ведь ты не знала, как мне страшно
и как бы нет,
что ты покинула вчерашний
свой кабинет –

портрет на стенке колюч и дешёв,
лицом не свеж,
как будто слизан из под подошвы,
толпы невежд,

грози им так же, до желчи в дёснах,
до зла в ушах
пока достойного не найдётся,
чтоб воскрешать,
пока он будет тебя страшиться
подобно мне
лгать из-под крана, из-под душицы
из-под камней.

А так чего я лишь в одиночку
тобой давлуюсь?
И пропускаю сквозь позвоночник
твой горький блюз,
танцую, видимо без причины,
да и не в такт –
я, значит, досыта излечима,
уж коли так.

Иди вербуй скалозубых юных
меня не тронь,
я перечислила все коммуны
твои нутром,
ты всё красива, твои подмости
нежны, тоска.
Как ты ложишься целебным воском
на их оскал –

я знаю. Вот же они – передних
резцов следы,
а ты гласила, что это бредни,
быть молодым,

не знать тебя, не идти спасаться
не лезть к тебе
в тебе на каждого на красавца
готов побег.

Так не ищи меня, дай мне флягу
с таким сырьем,
что я напьюсь и бесцельно лягу
нагреть её
до полноправия, до разрухи
до тёплых ног,
чтоб тот, кто хочет к тебе на руки
доплыть не смог.

Сквозь зубы, в которых тебя не держали,
сквозь мраморные голубые скрижали,
сквозь тех, что остались и повыезжали
лети оплеухой,
затравленной мухой,
мукой, шелухой, с плеч упавшей косухой,
и все водяные цветы перенюхай.

ищи её в сказке
и в латексной маске
в латентном симптоме, в блакитной коляске
ищи её робкие, спящие глазки
в разваленном доме,
в сухом водоёме,
на самом пустом из возможных перроне,
и нет её кроме, и не было кроме
неё. И железного привкуса крови

в рубашке льняной или в кофте махровой
и просто для правильной формы попробуй
неодушевлённой, живой и здоровой
из бедной семьи, со своей колокольни,
ищи в дневнике, как застуканный школьник,
ищи и не выгляди, как она помнит.

не помни, как она выглядит.

Ищи её, будто на карте Анапу,
смотри, как она разливается на пол,
как будто не ты её жёг и царапал,
когда долетишь, расскажи ей о главном,
о гордых верблюдах в толпе каравана
о самых значительных строчках Корана
о том, как за воду, что капает с крана

ты платишь. Не солоно, кстати, хлебавши,
она растекается в город из башен
не тех, что принцесса, а водонапорных
скажи, что познал очертание формы
что гладишь собак, записался на йогу,
что знаешь азы православного слога
сквозь капли никчёмные корвалола,
который она себе в душу колола

лети подстреленным горностаем,
и будь до ужаса узнаваем,
и будь тем самым забытым краем,
покуда память повымирает.
покуда дети повырастают.

Яблоко ограничивается столом,
страницами, завершающими псалом
любовь обтекает горло морским узлом
и воздухом. Освежает быстро, дымитя долго.
сшивает глоток и яблоко, как иголка,
которую обрекают на перелом.

Красным сегодня кажутся все цвета –
слёзы и абрикосы, слюна у рта,
чёткая разделительная черта
с каждым несмелым выдохом гнёт, кренился
яблоко обеспечивает границы
там, где они не действуют никогда.

В городе, где ни мякоти нет, ни дна
яблоко из «одно» превратят в «одна»
сладость его и приторна и трудна,
впрочем, как в сердце водится у заядлых –
мир состоит из злых одиноких яблок,
бережно рассыпающих семена.

ЯРОСЛАВА ВАЙС
Краматорск

Семь желаний.
Первое желание я истратил впустую.
Второе желание помогло мне дожить
до сегодняшнего дня.
Третье, чтобы найти путь.
Четвёртое, чтобы разглядеть что-нибудь.
Пятое помогло решить какую то ерунду.
Шестое я опять сказал на бегу.
И только седьмое, последнее, я произнёс не зря.
Оно для тебя.

Поэтический хакер.
Сдай мне свои пароли и имена,
Которые позволяют плавать минуя сети.
Напиши комбинации кодов,
Которые ты набираешь, меняя свои настроения.
Пришли скрины отпечатков пальцев,
Чтобы проникнуть в архивы твоей памяти.
Заархивируй улыбку,
Которая открывает хранилище сердца.
Может быть, тогда
Я смогу хоть немного понять,
Кто ты на самом деле.

Недокасание.
У меня в кармане
Постиранная пачка полотенец и
Просмотренные сериалы.

Это простительно, когда болеешь.
У меня в голове мечты о луне.
О. Танцах. О. Песне. О. Игре.
У меня в плечах зажатость
В спине боль
На лице улыбка –
«А ведь могло быть иначе».
У меня понимание в целом, картинки,
Развёрнутой.
С недосказанной, недопетой недо...
Нотой...
Недозвуком
Неподвижением
Недомолчанием
Недокасанием
Недоответом
Недоулыбкой
Недопониманием
Недосмирением
...
Чего тебе не хватило в недосмотренном сне?
Силы, юмора, бессилия, лестниц, проводов,
высоких крыш, быстро бежать, уметь летать,
Отчаянья, сопротивления, знания,
надежды, веры, любви?

И при том не важно, голодна ты или сыта.
Кто то сказал тебе, что ты – целый мир.
А ты чувствуешь себя спутником белки,
только бег по кругу тебя не заводит...

Не про дельфинов вовсе,
Говорят, дельфины умные.
Вот бы спросить, что они думают.
О том, как не захлебнуться земной рутинной,

Почему так долго можно стоять на месте
И любоваться одной картиной.
Почему люди одинаково разные,
А звери так по-разному похожи.
Одна маленькая жизнь –
Один маленький фильм.
У каждого где-то есть собственный умный дельфин.

Я заказала
Я заказала пустоты, стакана два,
Три.
Чтобы в одном глотке,
Чистое ничто.
В невесомости чтоб.
Чтоб вдалеке свет далёких звёзд,
Прозрачное отражение от них,
На обратной стороне ладони.
Амальгамным сечением сквозь пальцы,
Как щель в следующий мир.
Измерение доступное через пройденную боль.

Ты читаешь в интернете её посты
Листаешь картинки
Скролишь дни.
Думаешь что знаешь, кто её Бог.
(Он от тебя её уберег)
Встретив её, ты вполне бы мог
Нажать из табельного на курок.

На самом деле не знаешь

Как она мечтает
Забрать немного боли твоей
В долг.

Возможно, от этого будет прок.
В ритме песочных секунд
Один человек
То терялся сам
То терял время
Потом ловил время, приманивая его песочными
секундами приговаривая «тик-так».
То верил что его найдут и может спросят «как ты?»
Потом перестал теряться и ждать
Справедливо полагая,
Что он и есть единица времени
Бесконечная в пространстве вариантов
Где найденное и потерянное имеет равное значение

Оставь. Сотри.
Как малая птица,
Летаю в поисках хлебных крошек.
Смотрю, как солнечные стрелы пронзают
упрямые облака.
Постигаю красоту в глубину.
Услышь меня в ветре.
Найди меня в музыке.
Прочти меня в снах.
Расшифруй мне смыслы морей.
Зачерпни немного млечного пути,
Напой молоком медведицу.
Отпусти солнечного зайца.
Оцифруй поющего в терновнике.
Включи на реплей твой смех.
Сотри всё сложное.
Оставь нужное.

АЛЁНА МИХАЛЕВИЧ
Сумы

СЕРПЕНЬ

Ера ромашок скінчилась – немає і пелеху
Зморшками сохнуть покоси на поля чолі
Сиплються зорі з нічного небесного келиха
Прямо у жмені розкоханій щедрій землі

Кетяги кров'ю степів калиново напоєні –
Буде що їсти горобчикам у заметіль...
Рани душевні бинтами надії загоєні
Зрідка на них висипається відчаю сіль

Зрілою мудрістю дихають груди наморені
Менше приваблюють ласі бісівські куші
Трохи надламані, та до кінця не покорені!
...Серпень серпом вижинає угіддя душі...

Упало біле зверху на зелене,
Накрила тиша гучно гомінке...
Ти раптом став уважнішим до мене,
І щось бринить у голосі п'янке.

Нас поєднала кришталева тиша –
Уривком фрази не спаплюжу храм,
Вандалу-слову шансів не залишу,
Усе без слів і так відомо нам.

Нехай спочинуть пафосні катрени,
Весни чекають приспані вірші...
Несу у жмені сині краплі терну –
Чогось терпкого хочеться душі.

Ніч залічує рани обіймами тихого сну,
Огортає дбайливо мереживом віри-надії.
Я шукатиму щастя, напевне, ще ніч не одну –
І залишиться все лиш на стадії вічної мрії...

Мабуть, в юності щедрій на сонце палких почуттів,
Обпалила коханням розправлені крила-вітрила.
Безумовно любити тоді ти іще не умів,
Підкорялись дешевим умовностям я не хотіла.

Вже не вилетється дощ на засохлу пустелю душі,
Намітає байдужість апатії жовті бархани,
Трансформується відчай у дивні печальні вірші...
Ніч залічує лагідно давні, рубцьовані рани...

Усе, що мало статись – відбуло.
Весна красна квітками, я – плодами.
Ледь-ледь снігами скроні замело
І окосинь розтанула з роками...

Не заглядаю більше наперед –
На мудрий спокій право залишаю.
Наївних сподівань солодкий мед
З гірким полином зрілості мішаю.

Години мерехтять, роки – летять.
Шукала сенс буття – та перестала...
В душі моїй мінорно шелестять
Пісні дерев, що доля порубала.

Зімну в руці духмяний деревій,
Вдихну на повні груди запах літа...
Не так уже й далеко до завій –
Пів шляху пройдено,
І пів життя прожито...

Годинникова стрілка поспіша –
Даремно за минулим сумувати.
Якою ж стала гарною душа,
Обвуглена в життя боях проклятих!

Дозріла – як корисний стиглий плід,
В печі випробування гартувалась,
В шаленій круговерті зим і літ
Страждання щирим соком наливалась!

Та скоро білі мухи заметуть...
Пора збирати вічності валізи.
Які скарби візьму у довгу путь?
Душі правдиву і глибоку суть,
Що важко осягнути і збагнуть,
Як посмішку магічну Мони Лізи

Мелькают лица в веренице дней,
Механик Время крутит киноленту.
Хмельная юность... я бегу по ней,
Запомятая лучшие моменты.

Их было много, что и говорит.
Сам факт любви – уже казался счастьем...
Воспоминаний тоненькая нить
Алеет шрамом на моём запястье.

В броне цинизма на подмостках лжи
С годами убедительней играем
Стоит душа над пропастью во ржи
Не ждём чудес, не любим, не прощаем

...Отсчитывает Время ход минут
Я вглядываюсь в зеркало, робея
Черты нечётки, контуры плывут
В живом портрете Дориана Грея.

Душа нагая, будто Ева
Начать бы с чистого листа
Но где-то за грудиной слева
Образовалась пустота

Там вьюга воеет заунывно
Ей вторит волк на лик луны
Ищу в снегах интуитивно
Царя межрёберной страны

А в ней с завидным постоянством
На льды сменяется пожар
Давно душевное пространство
Лишь для тоски резервуар

Ещё тоской сочатся раны –
Святую боль благослови...
Зима расставила капканы
Для волком воющей любви.

Морозы наложили вето,
Снегами намело табу
На сердца нежные рассветы,
На поцелуй на ясном лбу,
На губ манящее безумство,
Что нагло выдали едва
Всепоглощающее чувство...
А больше прочих – на слова.

Они сокрыты за замками
Под толщей девственного льда...
Свою беременность словами
Я пронесу через года.

По кармическому ручью,
Во проклятье внутриутробном
Я плыву через «не хочу»
К неизбежным краям загробным

Обветшала лодка – жизнь
Бортник низкий, кругом прорехи
Знай – вычерпывай да молись,
Убеляя грехи-огрехи

Два надежных весла – любовь
Потеряла в водовороте
Два крыла изломала в кровь
На любовно – воздушном флоте)

Сердце рваное на замке,
Ожидания в затхлом трюме,
И дежурный на маяке то ли запил,
А то ли умер

АНЖЕЛА АРСЕНОВА (РАФАИЛОВА)
Харьков

Осень, ты – пластырь ране:
плотно прильни, подорожник...
Это всего лишь вянет
алая мальва под кожей...
Грусти мечта привычна –
ветром взлетать – от века.
(Может, есть зависть птичья
быть на земле человеком?)
Бодро идти по тропам
зимы научат скоро...
Знаешь, как мало проку –
с летом вести разговоры...
Вот бы опять ворваться
в юный декабрь снегами,
будням ответив вкратце:
Некогда! Еду к маме!

СПОЛНА

Круговорот ли, круговерть –
всё туже колесо, всё тише.
Где небо новое и твердь –
развоплотиться бы успеть –
из шума в звук. И век расслышать...
Вернуться в опустевший дом
и по местам расставить вещи,
с надеждой светлою вдвоём:
чтоб хлынул в сумерек проём
рассвет – обыденный и вещей.
Пускай, как в детстве, подождёт

мой вечер свет звезды далёкой,
чтоб мне свернуть за поворот,
где птиц и трав под небосвод
отпущено сполна до срока...

Минутное смятение огня,
упавшего на жаркую солому,
опасностью напутствует меня:
остерегись, минувшего не трогай!
Но свет воспрянет парюю гнедых
со снежной пылью на летящих гривах,
как шанс упущенный людей двоих,
по городу бредущих сиротливо.
Но если бы мне эхо тишины
аукнулось, когда я оттолкнула,
не устояли б, солнцами полны,
на перекрёстке уличного гула.

Но выбор мой спокойствию сродни:
ни суеты, ни будней перепалки.
Мне свет в окне – прирученные дни,
ни лета мне, ни осени не жалко...
Но жест поспешный ускользавших рук
и в миг один сорвавшиеся бусы
огонь внезапно обнаружит вдруг.

И снег пойдёт так радостно и грустно...

РЕБЁНОК

Сыну

В густой духоте перрона
Храню дыханье второе.
Как дождь накрывает кроны,
Разлука меня накроет.

Уже за окном – за краем,
Где крылья тоски и света
Хранят от ада и рая
Его тридцатое лето...

Никипеловой Нине Александровне

Неприкаянность дней и ночей
в вечной спешке за смыслом
искомым
постигаешь один. Ты ничей,
день-молчальник, остряк,
книгочей, –
вне тщеты иль под гнётом вещей –
в бесконечной погоне за словом.
Что ж не вымечтал ты, не посмел
тёплой жатвы спокойного срока?
С тесным списком забот – не у дел.
Век не краток, но ты не успел.
И твой ангел-хранитель – несмел –
распростёрт над тобой одиноко.
В веренице вселенских минут,
звёзд полночных и книг-
домочадцев,
где тревожные ветры поют
у дверей, где разор ли, уют,
всё ж до срока останешься тут:
до единственных слов домолчаться...

ОДИНОЧЕСТВО

Тёплый июль оборвёт и уронит
жёлтые листья в твои ладони.
Поезд ушёл. Ты всему посторонний
в Люботине, на пустом перроне.

Как же ты вырвался неосторожно
прочь от сомнений и от раздоров...
Тут лишь печаль, как морозец по коже,
снова выводит свои узоры.

Между утратой и между надеждой
ровно полвека исканий света.
Новому раю не стать уж, как прежде,
зыбкой опорой, и смысла нету.
Прежнего мужества или азарта
ровно настолько б тебе хватило –
в Харьков вернуться, проснуться бы завтра –
что было гордости, что было силы.
Что было лета в холодной ладони,
что было детства, где хмарь моросила.
Как же ты долго стоишь на перроне,
осознавая, что всё уже было...

*Нам з тобою тепер падає різний сніг.
С. Жадан*

Стежками обома довго петляв, отож
нам з тобою тепер падає різний дощ...
Хай несе течія між добра і отрут:
сходять сонечка два: в небі і в серці тут.
Чи ти дивишся вниз з чергової гори?
Нам шепочуть тепер зовсім різні вітри.
Навпіл рідні серця там, де зради батіг.
Нам з тобою тепер падає різний сніг...

На берег выброшен волною
(не веришь сам),
где волны кроткого прибоя
прильнут к ногам.
И память кораблекрушенья
там, где висок,
опять накроет. Но спасенье –
(лицом в песок) –
над днём, затопленным до донца,
сквозь новый дождь –
вдруг позовёт взглянуться в солнце.
И ты встаёшь...

ОЛЬГА АНДРУС
Харьков

Золотая река, в ней живут серебристые рыбы,
ива клонит к ним ветви, играя,
что-то шепчет с любовью. Вдруг люди услышать смогли бы,
так и поняли – жизнь есть иная,
легче лёгкой она – не вериги, не путы, не глыбы.

Там лесные ручьи – от прозрачного до голубого,
рощи солнцем согреты и тихи,
тени нежно роняют не серо, а бледно-лилово,
не тревожат их бури и вихри,
гибкой ивы глубокий поклон, как прощенья слово.

И когда я уйду, посадите под окнами иву,
её бледность исплаканных веток,
её тень на земле – мой прощальный привет будет миру,
закопайте на счастье монеток.
Шелест ивы чуть слышный заменит умолкшую лиру.

Я с детства житель городской,
дитя асфальта.
Кирпич, бетон, стекло с доской,
и редко – смальта.

Но запах поля, чабреца,
полыни горькой,
и маки в мантии жреца,
люблю и только,

ночь, осторожный аромат
весенней вишни,
в дремотный полдень хор цикад
и тот не лишней.

И вот – я пленник городской,
дитя асфальта.
Стекло, бетон, дух заводской,
и редко – смальта.

Осень срединная – странный художник,
красок в палитре всего только две,
может он просто – гуляка-кутежник,
где-то оставил другие, но где?

Пишет, что видит, натура подмокла,
вот и не ждёт ни хулы, не хвалы,
красное золото – в серые окна,
листья – янтарные, чёрным – стволы.

Лучик взметнулся оранжево-яркий,
в пепельном облаке вспыхнул и сник,
охрой и медью скрывает помарки...
краткой истории – короток миг.

Странное время – пора завершений.
Вот и художник пригубил свой скотч,
всё невесомее, всё драгоценней
чёрное золото – осень и ночь.

На крыше брошенной машины
остались листья во дворе.
Краснеют ягоды рябины,
но – не соперницы заре.

Заря горит за горизонтом,
несёт собой покоя миг,
вот солнце, гордое, архонтом
взойдёт и обогреет мир.

Осенний город поцелуем
последним, тёплым одари.
Лицо подставлю нежным струям,
замру на краешке зари.

Но... двор, на брошенной машине
остались листья умирать.
И я, как листья, – скоро иней –
ни дочка, ни жена, ни мать.

Бессонница жарких ночей
беспамятства злей и отчаянней.
Безжалостно мучая в зной,
тебя оставляет растерзанной.
И суд инквизиции в ней,
но только ужасней, таинственней,
и конницы мчащийся рой
монгольской, степной, тамерлановой,
и голос неведомо чей
зовёт в омут песней русалочьей.
Во тьме устрашения для
ожили фантазии Гоголя.
Бессонница жарких ночей
огня преисподней черней.

Жизнь больше нас – тебя, меня,
она, как ветер,
исчезла здесь – возникнет там,
мы чем ответим?

Земные мысли и дела –
ей случай частный,
земным – бессмертье не сулит
на наше счастье.

Пришли сюда – должны идти,
закон спирали,
кто смыслы обретёт в пути,
а кто едва ли.

Такая боль легла сейчас
на тех, кто вечен,
всю тяжесть смогут удержать
не наши плечи.

Кому вершить судьбу вершин,
тому, кто смертен?
Так пусть летит мгновенье-жизнь,
она, как ветер.

Не пишу я прозу,
в прозе я – не мэтр,
долгий текст – заноза,
мой – «короткий метр»,
сорок две секунды,
где-то пара фраз,
чёткий и не трудный,
краткий парафраз.

Письма не пишу я,
не пишу дневник,
даже речь большую:
слишком труд велик.
Излагать подробно
кто во что одет –
смертии подобно.
Я – простой поэт.

Строчек двадцать в рифму –
мой «короткий метр»,
подчинённый ритму...
в прозе я – не мэтр.

ТАТЬЯНА БЕРЕЗНЯК
Кропивницкий

НА ФОНЕ НОЧИ

А я в тебя влюбилась в феврале.
Семнадцатое – дата давней встречи...
Идёт к концу февраль – весны предтеча.
Иду посмотреть его *парад-алле!*..

Я ночь люблю: огней калейдоскоп.
Вплелись в него и Сириус, и Вега.
Сверкает всё! Ни дать ни взять Лас-Вегас!
Над рестораном фейерверка сноп...

О, радуга – охотник и фазан,
Сегодня у тебя полнейший кворум!
На перекрёстке трио светофора.
Зелёный – как бальзам больным глазам.

И в зеркалах – витрины ли, ручья,
Спешащего родиться из сугроба, –
Пейзажем ночи я люблюсь в оба...
Пир зрения – заслугою врача?..

Ты, рыжий кот, мой верный визави,
Кому ещё доверю я признание,
Как близко слышу я весны дыханье
И тихий вздох *несломленной* любви?

ВЛИБИДИЛАСЬ

Я любимого обидела –
Не влюбилась, а влибидилась.

И скользя по водной глади,
Проплывает стороной,

На меня совсем не глядя,
Ненаглядный лебедь мой.

Оперение искрится –
Глаз влюблённых не отвесь.
Гордая святая птица,
О любви благая весть!

(Что-то мне в тебе привиделось,
Что нечаянно влибидилась).

Уплыло былое в Лету –
Я его сдала на слом.
Спать хочу – твою Ледой –
На крыле и под крылом!

И твою лебединой
Тешусь песней наяву,
И надеждою единой –
Буду жить!

Жила...

Живу.

(Ах, зачем же я влибидилась?
Как давно с тобой не виделась!).

ОСЕНЬ В МАРИИНСКОМ ПАРКЕ

Гуляю вечером на Липках.
Листву осеннюю поправ,
Прислушаюсь и слышу всхлипы
Жемчужно-серого Днепра...

Вся в золоте, в боа из листьев,
Стремительна, как Фигаро,
Рапсодией весёлой Листа
Несётся осень над Днепром!

А сквозь листву дворец Растрелли –
Жар-птицы золотым пером...
Со мною рыжим спаниелем
Гуляешь, осень, над Днепром!

И тишина... Но по брусчатке
Давно ль каштаны не стучат?
Листва, летая в беспорядке,
Коснётся моего плеча...

И золотом нарядных кружев
Закружит нас осенний парк
И пригласит на званый ужин –
Смотреть балеты Петипа.

Вновь листопада шквал, цунами!
Легки кордебалета па...
Так властвуй, осень, над умами!..
Жемчужный Днепр... Старинный парк...

ЗНАМЕНСКИЙ ЭТЮД

Сесть в электричку – не великий труд.
Вояж бесплатен, коль дыра в кармане.
Белёсым лёгким облачком тумана
Шесть лет спустя меня встречает пруд.

Вечернего пруда притихла гладь.
Меня узнав, зашелестели вербы...
Дневных событий камушки и перлы
Нанизывает времени игла.

Перебираю их – подарки дня -
На берегу, где подорожник малый
И клевер луговой – душе усталой
Отрада, столь манившая меня.

Лапчатки ощущаю благодать...
Как время, испаряются обиды.
И отразятся в водах Персеиды,
И до звезды моей – рукой подать!..

Забыты город, суета и смог.
Кому-то здесь и скучно, и не ново.
За Знаменкой мой пруд. Село Петрово.
Моей Отчизны скромный уголок.

Закатным золотом сияет горизонт.
И кажется: мне снова повезло!

АРСЕНИЙ ТАРКОВСКИЙ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ещё в скорлупе мы висим на хвощах
Мы – ранняя проба природы,
У нас ещё кровь не красна, и в хрящах
Шумят силурийские воды,

Ещё мы в пещере костра не зажгли
И мамонтов не рисовали,
Ни белого неба, ни чёрной земли
Богами ещё не назвали,

А мы уже в горле у мира стоим
И бомбою мстим водородной
Ещё не рождённым потомкам своим
За собственный грех первородный.

Ну что ж, златоверхие башни смахнём,
Развеем число Галилея
И Моцарта флейту продуем огнём,
От первого тлена хмелея.

Нам снится немая, как камень, земля
И небо, нагое без птицы,
И море без рыбы и без корабля,
Сухие, пустые глазницы.

КНИГА ТРАВЫ

О нет, я не город с кремлём над рекой,
Я разве что герб городской.

Не герб городской, а звезда над щитком
На этом гербе городском.

Не гостя небесная в черни воды,
Я разве что имя звезды.

Не голос, не платье на том берегу,
Я только светиться могу.

Не луч световой у тебя за спиной,
Я – дом, разорённый войной.

Не дом на высоком валу крепостном,
Я – память о доме твоём.

Не друг твой, судьбою ниспосланный друг,
Я – выстрела дальнего звук.

В приморскую степь я тебя уведу,
На влажную землю паду,

И стану я книгой младенческих трав,
К родимому лону припав.

СТОЛ НАКРЫТ НА ШЕСТЕРЫХ

Стол накрыт на шестерых –
Розы да хрусталь...
А среди гостей моих –
Горе да печаль.

И со мною мой отец,
И со мною брат.
Час проходит. Наконец
У дверей стучат.

Как двенадцать лет назад,
Холодна рука,
И немодные шумят
Синие шелка.

И вино поёт из тьмы,
И звенит стекло:
«Как тебя любили мы,
Сколько лет прошло».

Улыбнётся мне отец,
Брат нальёт вина,
Даст мне руку без колец,
Скажет мне она:

«Каблучки мои в пыли,
Выцвела коса,
И звучат из-под земли
Наши голоса».

МУЗЕ

Мало мне воздуха, мало мне хлеба,
Льды, как сорочку, сорвать бы мне с плеч,
В горло вобрать бы лучистое небо,
Между двумя океанами лечь,
Под ноги лечь у тебя на дороге
Звёздной песчинкою в звёздный песок,
Чтоб над тобою крылатые боги
Перелетали с цветка на цветок.

Ты бы могла появиться и раньше
И приоткрыть мне твою высоту,
Раньше могли бы твои великанши
Книгу твою развернуть на лету,
Раньше могла бы ты новое имя
Мне подобрать на твоём языке, –
Вспыхнуть бы мне под стопами твоими
И навсегда затеряться в песке.

ПОРТРЕТ

Никого со мною нет.
На стене висит портрет.

По слепым глазам старухи
Ходят мухи, мухи, мухи.

Хорошо ли, – говорю, –
Под стеклом твоём в раю?

По щеке сползает муха,
Отвечает мне старуха:

– А тебе в твоём дому
Хорошо ли одному?

ФОНАРИ

Мне запомнится таянье снега
Этой горькой и ранней весной,
Пьяный ветер, хлеставший с разбега
По лицу ледяною крупой,
Беспокойная близость природы,
Разорвавшей свой белый покров,
И косматые шумные воды
Под железом угрюмых мостов.

Что вы значили, что предвещали,
Фонари под холодным дождём,
И на город какие печали
Вы наслали в безумье своём,
И какую тревогою ранен
И обидой какой уязвлён
Из-за ваших огней горожанин,
И о чём сокрушается он?

А быть может, он вместе со мною
Исполняется той же тоски
И следит за свинцовой волною,
Под мостом обходящей быки?
И его, как меня, обманули
Вам подвластные тайные сны,
Чтобы легче им было в июле
Отказаться от чёрной весны.

ЗВЁЗДНЫЙ КАТАЛОГ

До сих пор мне было невдомёк –
Для чего мне звёздный каталог?
В каталоге десять миллионов
Номеров небесных телефонов,
Десять миллионов номеров
Телефонов марев и миров,
Полный свод свеченья и мерцанья,
Список абонентов мироздания.
Я-то знаю, как зовут звезду,
Я и телефон её найду,
Пережду я очередь земную,
Поверну я азбуку стальную:

– А-13-40-25.

Я не знаю, где тебя искать.

Запоёт мембрана телефона:
– Отвечает альфа Ориона.
Я в дороге, я теперь звезда,
Я тебя забыла навсегда.
Я звезда – денницына сестрица,
Я тебе не захочу присниться,
До тебя мне дела больше нет.
Позвони мне через триста лет.

Я прощаюсь со всем, чем когда-то я был
И что я презирал, ненавидел, любил.

Начинается новая жизнь для меня,
И прощаюсь я с кожей вчерашнего дня.

Больше я от себя не желаю вестей
И прощаюсь с собою до мозга костей,

И уже наконец над собою стою,
Отделяю постылую душу мою,

В пустоте оставляю себя самого,
Равнодушно смотрю на себя – на него.

Здравствуй, здравствуй, моя ледяная броня,
Здравствуй, хлеб без меня и вино без меня,

Сновидения ночи и бабочки дня,
Здравствуй, всё без меня и вы все без меня!

Я читаю страницы неписанных книг,
Слышу круглого яблока круглый язык,

Слышу белого облака белую речь,
Но ни слова для вас не умею сберечь,

Потому что сосудом скудельным я был.
И не знаю, зачем сам себя я разбил.

Больше сферы подвижной в руке не держу
И ни слова без слова я вам не скажу.

А когда-то во мне находили слова
Люди, рыбы и камни, листва и трава.

СЛОВО

Слово только оболочка,
Плѐнка, звук пустой, но в нём
Бьѐтся розовая точка,
Станным светится огнѐм,

Бьѐтся жилка, вьѐтся живчик,
А тебе и дела нет,
Что в сорочке твой счастливчик
Появляется на свет.

Власть от века есть у слова,
И уж если ты поэт
И когда пути другого
У тебя на свете нет,

Не описывай заране
Ни сражений, ни любви,
Опасайся предсказаний,
Смерти лучше не зови!

Слово только оболочка,
Плѐнка жребиев людских,
На тебя любая строчка
Точит нож в стихах твоих.

ИННОКЕНТИЙ АННЕНСКИЙ

СРЕДИ МИРОВ

Среди миров, в мерцании светил
Одной Звезды я повторяю имя...
Не потому, чтоб я Её любил,
А потому, что я томлюсь с другими.

И если мне сомненье тяжело,
Я у Неё одной ищу ответа,
Не потому, что от Неё светло,
А потому, что с Ней не надо света.

В ОТКРЫТЫЕ ОКНА

Бывает час в преддверье сна,
Когда беседа умолкает,
Нас тянет сердца глубина,
А голос собственный пугает,

И в нарастающей тени
Через отворенные окна,
Как жерла, светятся одни,
Свиваясь, рыжие волокна.

Не Скуки ль там Циклоп залёг,
От золотого зноя хмелен,
Что, розовея, уголёк
В закрытый глаз его нацелен?

ПОД НОВОЙ КРЫШЕЙ

Сквозь листву просвет оконный
Синью жгучею залит,
И тихонько ветер сонный
Волоса мне шевелит...

Не доделан новый кокон,
Точно трудные стихи:
Ни дверей, ни даже окон
Нет у пасынка стихий,

Но зато по клетям сруба
В тёмной зелени садов
Сапожищи жизни грубо
Не оставили следов,

И жилец докучным шумом
Мшистых стен не осквернил:
Хорошо здесь тихим думам
Литься в капельки чернил.

.....

Схоронили пепелище
Лунной ночью в забытьё...
Здравствуй, правнуков жилище, –
И моё, и не моё!

КУЛАЧИШКА

Цвести средь немолчного ада
То грузных, то гулких шагов,
И стонущих блоков, и чада,
И стука бильярдных шаров.

Любится, пока полосую
Кровавой не вспыхнул восток,
Часочек, покуда с косою
Не сладился белый платок.

Скормить Помыканьям и Злобам
И сердце, и силы дотла –
Чтоб дочь за глазетовым гробом,
Горбатая, с зонтиком шла.

КОНЕЦ ОСЕННЕЙ СКАЗКИ

Неустанно ночи длинной
Сказка чёрная лилась,
И багровый над долиной
Загорелся поздно глаз;

Видит: радуг паутина
Почернела, порвалась,
В малахиты только тина
Пышно так разубралась.

Видит: пар белесоватый
И ползёт, и вьётся ватой,
Да из чёрного куста

Там и сям сочатся грозди
И краснеют... точно гвозди
После снятого Христа.

СВЕЧКУ ВНЕСЛИ

Не мерещится ль вам иногда,
Когда сумерки ходят по дому,
Тут же возле иная среда,
Где живём мы совсем по-другому?

С тенью тень там так мягко слилась,
Там бывает такая минута,
Что лучами незримыми глаз
Мы уходим друг в друга как будто.

И движеньем спугнуть этот миг
Мы боимся, иль словом нарушить,
Точно ухом кто возле преник,
Заставляя далёкое слушать.

Но едва запылает свеча,
Чуткий мир уступает без боя,
Лишь из глаз по наклонам луча
Тени в пламя сбегут голубое.

КОТОРЫЙ?

Когда на бессонное ложе
Рассыплется бреда цветы,
Какая отвага, о боже,
Какие победы мечты!..

Откинув докучную маску,
Не чувствуя уз бытия,
В какую волшебную сказку
Вольётся свободное я!

Там всё, что на сердце годами
Пугливо таил я от всех,
Рассыплется ярко звездами,
Прорвётся, как дерзостный смех.

Там в дымных топазах запястий
Так тихо мне Ночь говорит;
Нездешней мучительной страсти
Огнём она чёрным горит...

Но я... безучастен пред нею
И нем, и недвижим лежу...

.....

На сердце её я, бледнея,
За розовой раной слежу,

За розовой раной тумана,
И пьяный от призраков взор
Читает там дерзость обмана
И сдавшейся мысли позор.

.....

О царь Недоступного Света,
Отец моего бытия,
Открой же хоть сердцу поэта,
Которое создал ты я.

ЛИСТОПАД

На белом небе всё тусклей
Златится горняя лампада,
И в доцветании аллея
Дрожат зигзаги листопада.

Кружатся нежные листы
И не хотят коснуться праха...
О, неужели это ты,
Всё то же наше чувство страха?

Иль над обманом бытия
Творца веленье не звучало,
И нет конца и нет начала
Тебе, тоскующее я?

ДЕКОРАЦИЯ

Это – лунная ночь невозможного сна,
Так уныла, желта и больна
В облаках театральных луна,

Свет полос запылённо-зелёных
На бумажных колеблется клёнах.

Это – лунная ночь невозможной мечты.
Но недвижны и странны черты:
– Это маска твоя или ты?

Вот чуть-чуть шевельнулись ресницы...
Дальше... вырваны дальше страницы.

АННА АХМАТОВА

Двадцать первое. Ночь. Понедельник.
Очертанья столицы во мгле.
Сочинил же какой-то бездельник,
Что бывает любовь на земле.

И от лени или со скуки
Все поверили, так и живут:
Ждут свиданий, боятся разлуки
И любовные песни поют.

Но иным открывается тайна,
И почиет на них тишина...
Я на это наткнулась случайно
И с тех пор всё как будто больна.

В последний раз мы встретились тогда
На набережной, где всегда встречались.
Была в Неве высокая вода
И наводнения в городе боялись.

Он говорил о лете и о том,
Что быть поэтом женщине – нелепость.
Как я запомнила высокий царский дом
И Петропавловскую крепость –

Затем, что воздух был совсем не наш,
А как подарок Божий – так чудесен,
И в этот час была мне отдана
Последняя из всех безумных песен.

ПЕСНЯ ПОСЛЕДНЕЙ ВСТРЕЧИ

Так беспомощно грудь холодела,
Но шаги мои были легки.
Я на правую руку надела
Перчатку с левой руки.

Показалось, что много ступеней,
А я знала – их только три!
Между клёнов шёпот осенний
Попросил: «Со мною умри!

Я обманут моей унылой,
Переменчивой, злой судьбой».
Я ответила: «Милый, милый!
И я тоже. Умру с тобой...»

Это песня последней встречи.
Я взглянула на тёмный дом.
Только в спальне горели свечи
Равнодушно-жёлтым огнём.

СЕРОГЛАЗЫЙ КОРОЛЬ

Слава тебе, безысходная боль!
Умер вчера сероглазый король.

Вечер осенний был душен и ал,
Муж мой, вернувшись, спокойно сказал:

«Знаешь, с охоты его принесли,
Тело у старого дуба нашли.

Жаль королеву. Такой молодой!..
За ночь одну она стала седой».

Трубку свою на камине нашёл
И на работу ночную ушёл.

Дочку мою я сейчас разбужу,
В серые глазки её погляжу.

А за окном шелестят тополя:
«Нет на земле твоего короля...»

Чернеет дорога приморского сада,
Желты и свежи фонари.
Я очень спокойная. Только не надо
Со мною о нём говорить.
Ты милый и верный, мы будем друзьями...
Гулять, целоваться, стареть...
И лёгкие месяцы будут над нами,
Как снежные звёзды, лететь.

Я научилась просто, мудро жить,
Смотреть на небо и молиться Богу,
И долго перед вечером бродить,
Чтоб утомить ненужную тревогу.

Когда шуршат в овраге лопухи
И никнет гроздь рябины жёлто-красной,
Слагаю я весёлые стихи
О жизни тленной, тленной и прекрасной.

Я возвращаюсь. Лижет мне ладонь
Пушистый кот, мурлыкает умильней,
И яркий загорается огонь
На башенке озёрной лесопильни.

Лишь изредка прорезывает тишь
Крик аиста, слетевшего на крышу.
И если в дверь мою ты постучишь,
Мне кажется, я даже не услышу.

Не с теми я, кто бросил землю
На растерзание врагам.
Их грубой лести я не внемлю,
Им песен я своих не дам.

Но вечно жалок мне изгнанник,
Как заключённый, как больной.
Темна твоя дорога, странник,
Польнью пахнет хлеб чужой.

А здесь, в глухом чаду пожара
Остаток юности губя,
Мы ни единого удара
Не отклонили от себя.

И знаем, что в оценке поздней
Оправдан будет каждый час;
Но в мире нет людей бесслёзней,
Надменнее и проще нас.

Древний город словно вымер,
Странен мой приезд.
Над рекой своей Владимир
Поднял чёрный крест.

Липы шумные и вязы
По садам темны,
Звёзд иглистые алмазы
К богу внесены.

Путь мой жертвенный и славный
Здесь окончу я,
Но со мной лишь ты, мне равный,
Да любовь моя.

1914, Киев

РЕКВИЕМ. ЭПИЛОГ

I

Узнала я, как опадают лица,
Как из-под век выглядывает страх,
Как клинописи жёсткие страницы
Страдание выводит на щеках,
Как локоны из пепельных и чёрных
Серебряными делаются вдруг,
Улыбка вянет на губах покорных,
И в сухоньком смешке дрожит испуг.
И я молюсь не о себе одной,
А обо всех, кто там стоял со мною,
И в лютый холод, и в июльский зной
Под красною ослепшею стеною.

II

Опять поминальный приблизился час.
Я вижу, я слышу, я чувствую вас:

И ту, что едва до окна довели,
И ту, что родимой не топчет земли,

И ту, что, красивой тряхнув головой,
Сказала: «Сюда прихожу, как домой».

Хотелось бы всех поименно назвать,
Да отняли список, и негде узнать.

Для них соткала я широкий покров
Из бедных, у них же подслушанных слов.

О них вспоминаю всегда и везде,
О них не забуду и в новой беде,

И если зажмут мой измученный рот,
Которым кричит стомильонный народ,

Пусть так же они поминают меня
В канун моего поминального дня.

А если когда-нибудь в этой стране
Воздвигнуть задумают памятник мне,

Согласье на это даю торжество,
Но только с условием – не ставить его

Ни около моря, где я родилась:
Последняя с морем разорвана связь,

Ни в царском саду у заветного пня,
Где тень безутешная ищет меня,

А здесь, где стояла я триста часов
И где для меня не открыли засов.

Затем, что и в смерти блаженной боюсь
Забыть гроыхание черных марусь,

Забыть, как постылая хлопала дверь
И выла старуха, как раненый зверь.

И пусть с неподвижных и бронзовых век
Как слёзы струится подтаявший снег,

И голубь тюремный пусть гулит вдали,
И тихо идут по Неве корабли.

НИКОЛАЙ РУБЦОВ

В ГОРНИЦЕ МОЕЙ СВЕТЛО

В горнице моей светло.
Это от ночной звезды.
Матушка возьмёт ведро,
Молча принесёт воды...

Красные цветы мои
В садике завяли все.
Лодка на речной мели
Скоро догниёт совсем.

Дремлет на стене моей
Ивы кружевная тень.
Завтра у меня под ней
Будет хлопотливый день!

Буду поливать цветы,
Думать о своей судьбе,
Буду до ночной звезды
Лодку мастерить себе...

БЕРЕЗА

Есть на севере берёза,
Что стоит среди камней.
Побелели от мороза
Ветви черные на ней.

На морские перекрёстки
В голубой дрожащей мгле
Смотрит пристально берёзка,
Чуть качаясь на скале.

Так ей хочется «Счастливо!»
Прошептать судам вослед,
Но в просторе молчаливом
Кораблей всё нет и нет...

Спят морские перекрёстки,
Лишь прибой гремит во мгле.
Грустно маленькой берёзке
На обветренной скале.

ШУМИТ КАТУНЬ

...Как я подолгу слушал этот шум,
Когда во мгле горел закатный пламень!
Лицом к реке садился я на камень
И всё глядел, задумчив и угрюм,

Как мимо башен, идиолов, гробниц
Катунь неслась широкою лавиной,
И кто-то древней клинописью птиц
Записывал напев её былинный...

Катунь, Катунь – свирепая река!
Поёт она таинственные мифы
О том, как шли воинственные скифы, –
Они топтали эти берега!

И Чингисхана сумрачная тень
Над целым миром солнце затмевала,
И чёрный дым летел за перевалы
К стоянкам светлых русских деревень...

Всё поглотил столетний тёмный зев!
И всё в просторе сказочно-огнистом
Бежит Катунь с рыданием и свистом –
Она не может успокоить гнев!

В горах погаснет солнечный июнь,
Заснут во мгле печальные айлы,
Молчат цветы, безмолвствуют могилы,
И только слышно, как шумит Катунь...

ПО ДОРОГЕ К МОРЮ

Въезжаем в рощу золотую,
В грибную бабушкину глушь.
Лошадка встряхивает сбрую
И пьёт порой из тёплых луж.

Вот показались вдоль дороги
Поля, деревни, монастырь,
А там – с кустарником убогим
Унылый тянется пустырь.

Я рад тому, что мы кочуем,
Я рад садам монастыря
И мимолетным поцелуям
Прохладных листьев сентября.

А где-то в солнечном Тифлисе
Ты ждёшь меня на той горе,
Где в тёплый день, при лёгком бризе,
Прощались мы лицом к заре.

Я опечален: та вершина
Крута. А ты на ней одна.
И азиатская чужбина
Бог знает что за сторона?

Ещё он долог по селеньям,
Мой путь к морскому кораблю,
И, как тебе, цветам осенним
Я всё шепчу: «Люблю, люблю...»

ТИХАЯ РОДИНА МОЯ

Тихая моя родина!
Ивы, река, соловьи...
Мать моя здесь похоронена
В детские годы мои.

– Где тут погост? Вы не видели?
Сам я найти не могу. –
Тихо ответили жители:
– Это на том берегу.

Тихо ответили жители,
Тихо проехал обоз.
Купол церковной обители
Яркой травой зарос.

Там, где я плавал за рыбами,
Сено гребут в сеновал:
Между речными изгибами
Вырыли люди канал.

Тина теперь и болотина
Там, где купаться любил...
Тихая моя родина,
Я ничего не забыл.

Новый забор перед школою,
Тот же зелёный простор.
Словно ворона весёлая,
Сяду опять на забор!

Школа моя деревянная!..
Время придет уезжать –
Речка за мною туманная
Будет бежать и бежать.

С каждой избою и тучею,
С громом, готовым упасть,
Чувствую самую жгучую,
Самую смертную связь.

Стихи из дома гонят нас,
Как будто вьюга воеет, воеет
На отопленье паровое,
На электричество и газ!

Скажите, знаете ли вы
О вьюгах что-нибудь такое:
Кто может их заставить выть?
Кто может их остановить,
Когда захочется покоя?

А утром солнышко взойдёт, –
Кто может средство отыскать,
Чтоб задержать его восход?
Остановить его закат?

Вот так поэзия, она
Звенит – её не остановишь!
А замолчит – напрасно стонешь!
Она незрима и вольна.

Прославит нас или унизит,
Но всё равно возьмёт своё!
И не она от нас зависит,
А мы зависим от неё...



АНДРЕЙ КОСТИНСКИЙ
Харьков

ДИПТИХ

Алле Онуприенко

ПИСЬМО

1

Наверно, навершие горы
так же радуется солнцу,
как и её подножие.
Сколько времени минет с той поры,
когда один из нас проснётся
с чувством друг к другу похожим?

2

Серебристая заводь луны
поутру пуста.
В миску неба
облаков налита сметана.
Солнце воле-ляжно катится
по вчерашней колее,
чуть уходя в сторону.
Каждый день начинаем с тобой
с белого листа.

А к вечеру каждый, но –
 вместе, по сути – станет
ближе другому и дальше,
 теплей и холодней.
 Но – поровну.

3

Переплываем, переживаем реки
и чувства – их не так уж и много;
хотя есть ещё притоки и страсти.
Роняем слова, как листву на просеке
молодящийся ряд деревьев, отроги
друг другу показывая, –
 роняем счастье.

4

На рассвете, раздвигая занавес ночи,
театр лучей даёт представленья
разные для леса, людей, озёр и лугов.
Взгляды наши, встречаясь – короче
и длиннее одновременно,
как река относительно своих берегов.

5

Никакая пурга не заметёт следы.
Каждый след навсегда впечатан
и подобен тэну, раскалённому до синего.
Ворвавшаяся в сердце любовь
 сродни напору орды, –
полоняет его. Но стомножно несчастен
тот, кого покидает орда обессилено.

6

Одинокое дерево на краю холма –
словно ручка, чтобы открыть его;
внутри –
 тайник, погреб, лабиринт, шахта?
Я знаю, что в сердце тьма,
пока к нему не привита
веточка света лучиком шатким.

7

Не может клён одеть
 один и тот же наряд,
как бы портниха-весна ни старалась;
покрасуется летом
 да и обветшает к осени.
Зацепившись однажды
 за твой малахитовый взгляд,
понимаешь, что гор коралловость
с королевой своей –
 твои верноподданные и гости.

8

Солнце вбирают песчаные дюны.
 Лучи соломенной хвоей лежат
 на ладони пустыни.
Одна песчинка забивает ушко
 одного лучика-иглы,
 другие песчинки
 присыпают его к ночи.
 Навсегда.
Внутри этой ладони лучи как занозы,
 но их уже не вынуть никому.
Пустыни к утру остынут.
Утро пойдёт по тэнным следам.
Холм скорее внутри не хранит,
 а прячет тьму.

.....

Наверно, навершие горы
 так же радовалось солнцу,
 как и её подножие.
 Сколько времени минуло с той поры,
 когда один ждал, когда проснётся
 другой с родившимся чувством похожим?

БРЕДА

Будь моим бредом эту ночь.
 я задвину шторы,
 включу Коэна –
 его тысяча поцелуев
 унесёт нас туда,
 где ещё один станет открытием
 запретного рая.
 Горячие руки
 на холодных плечах
 согреют душу,
 взгляды
 в глаза друг другу в темноте
 будут подобны игре –
 с завязанными глазами –
 на рояле.

Ты не будешь знать,
что брежу тобою.
Ты будешь думать,
что я вошёл к тебе из своей комнаты,
перешагнув луну, едва задев её
неосторожным шагом –
что эта неловкость по сравнению
с трепетом бредить тобою?
Воздух такой тяжёлый,
ступни вязнут в нём, как в густой влажной траве,
на которой росинки лопаются, как икринки,
а из каждой росинки
выпрыгивают утрёнки,
такие радужно-изогнутые,
и по каждому можно
предугадать, как пройдёт твой день...

Будь моим бредом,
будь моей бредой,
будь до того времени,
покуда утро не родится из другого утра...

< И СОЗДАЛ БОГ ЕВУ >

Из кувшина,
вылепленного из глиняного последа Адама,
исходили страхи.

Они
разливались под корни деревьев,
расползались в травах,
растворялись в росах,
развеивались на ветру.

Их было такое множество,
что Адам не хотел приходить в себя.

Даже солнце не могло отделить
луч от луча
в этом скопище страха:
они жались друг к другу так,
что были похожи
на слипшуюся переваренную вермишель.

Радуга, войдя в росинку, скисала в ней
и смешивалась
с кишасщими страхами
в чёрный цвет –
в этой чёрной икринке
высиживались безмолвные стонны.

Змеи впервые стали сбрасывать кожу –
жертву встречному шороху.
Страхи вползали в неё
и обвивали видения спящего
кольцами обречения.

Корни
всё глубже вчервлялись
в яблоко земли,
пытаясь найти такую тьму,
где страхи
не смогли бы отличить корни
от собственных теней.

Ресницы Адама напоминали
хирургический шов –
спасение глаз
от слепоты неизвестности.

И тогда создал Бог Еву...

<
.....
.....>

МОЛИТВА

Прошу Тебя, Господи!
Позволь мне увидеть утром
красоту рассвета, созданного Тобою,
равнозначного закату, созданному Тобою,
моими глазами,
полными цвета, созданного Тобою, –
они пьют и замораживают небо в зрачках;
небо тает слезами тогда,
когда ему так же больно во мне,
как душе моей в нём.
Каждая ли слеза равна звезде?
Обе ли они равновидны Тебе?

Господи, прошу Тебя!
Дай мне силы так же проводить день,
как и встретил его.
Собери за день все мои улыбки
и сохрани для того дня,
когда печаль обесцветит мир вокруг.
А если я за день ни разу не улыбнулся,
прими это как мою хитрость –
будто бы я коплю улыбки для шторма,
штурмующего цитадель ненависти
в надежде разнести её камни
до равнинности.

Прошу, Господи, Тебя
услышать меня среди миллиардов голосов,
увидеть мои молитвенно сложенные ладони
и меня, стоящего на коленях
и отражающего, как в воде,
первую букву моего величайшего греха –
гордыни.
Ты слышишь даже мысли,
Проскальзывающие между словами молитвы.
Так между камнями льётся вода:

живая она или мёртвая –
об этом становится известно не сразу.

Тебя прошу, Господи!
Белому снегу,
зелёной листве,
пёстрым цветам,
чистым водам
радуюсь я!
Не лишай же меня радости видения,
слышания, осязания
Твоих дел, слов, чудес
в моей душе.

Когда касается коса седого месяца
Несжатых снов, мой о тебе щадится.
И в кассе букво-звёзд словарь месится,
И облачным дрожжам не спится,
И проявляются к утру едва-едва
На небе, на земле не видно,
О неизбежности слова,
Как два дыханья слитно...

СЕРГЕЙ ГЛАВАЦКИЙ
в переводах Елизаветы Радванской
на украинский язык

Подайте на випивку Богу! До біса –
Його доброту!
По круглій Землі, що від мітингів – лиса,
Безглуздо іду, –

Живу не в житті, а у мертвих портретах,
Блукав у пісках –
Які поховали тріумфи та кредо,
Шукаючи скарб –

Сувії болотні, що живляться жахом,
Безсмертя не вб'є.
Носив на руках, як загиблого птаха,
Чекання своє.

Метелики-яструби, хижі, шукають
Тебе в небесах,
Де час не віднайде стежину до гаю,
Сліпий у лісах...

Сліпий – щоб стерв'ятник – п'янки його очі
Не випив до дна,
З небес капюшону – з акустики ночі –
Як келих вина.

Світанок з безсонням на раз-два рахує
Лічильник образ...
Долонь твоїх ліній мені так бракує,
Вбивається час:

Чекаю на тебе – з народження. Вічно.
Петля без вузла...
І знов мене серце підводить – так звично! –
Примарою зла...

Я тисячу років чекав – та даремно...
(Не всі можуть так),
Що тут, де пульсує, як вена яремна,
Зорі білий знак,

У відчаю тебе покличу крізь небо,
Забувши мету...
Почуєш весь біль – крик моєї потреби,
І скажеш: «Я тут»...

Я не знаю, що буде. Все зникло в пожежі.
Бо, тасуючи в смерті та в смерчі спіралей
Сотні тисяч мозаїк, світ зробить усе, щоб
Навки долі між нами зв'язок розірвали.

Тут повії ридають святою водою,
Вибухають, як атомна бомба, куранти.
Я не знаю, кохана, що врочить нам доля –
Порожнечу? Чи море і чайок гірлянди?

Та ліхтарики в небі грозу відтіняють,
На своїх парашутах вмирають світила.
Я не знаю, кохана, що нас поглинає –
Порожнеча чи сполох астрального тіла.

Хай твій спогад пливе, як під хвилями риби,
Божевільну цю мить пий зі мною до донця.
Я не знаю, що далі – чи наша загибель
Чи цілунок, як вибух прадавнього Сонця...

Не знайдеш ворога в мені –
Шукай з мечем, ходи в кольчuzі,
Чи сповивай у завірюсі,
Пали коханця уві сні...

Маленька, разом – важко нам...
Але мій потяг мчить повз церкву,
Де купол неба – в феєрверках,
Що Всесвіт висвітлять до дна.

Я там зійду, і промине,
Як час, мій поїзд – шлях мій звичний...
Бо у депо – є наша вічність,
Де дочекаєшся мене.

І біси, що живуть у нас,
Підпишуться під тим, що знаю:
Нас – наречених – вже немає,
Є лиш душа, на двох одна.

А поки – з порожнеч блідих,
Чекай на мене, кидай бомби,
Та замуруй всі катакомби...
Але повір, що я – це ти.

Катуй себе... Скінчиться бій,
Та сонце вигляне крізь хмари...
Коли ми станемо – примари,
Все буде добре. Згасне біль.

Генофонд, геноцид, геноцирк, геномор'
Нас тільки золоті ведуть в пекло Гоморр.
Кого вбили вночі, той сто років мовчить.
За Садовим Кільцем завжди знайдеться спирт,
Під Садовим Кільцем п'ють колектори СНІД.
За здоров'я знов вип'є німий інвалід,
Київ, Мінськ та Одеса у дзвони б'ють знов:
Пом'янути бажають загиблу любов.

Ми обрубки без ніг, недо-люди без рук,
Дев'ятнадцятий рік в генах – болі хоругв,
Ми у чорному ходимо – тисячі днів,
Вже століття ховаючи наших царів,
Ми морально – померли, назавжди, навік,
З дев'яностих – душа стогне в холоді криг,
І наснитися, що вмерли ми замість царя,
Нам постільний режим прописала зоря...

Це князівство загине. Як штучна ікра,
Що замінить реальну. Цей стан – просто гра.
І ніколи ніхто не врятує його,
Чорна нафта (чи мітка?) веде у ярмо.
І слов'яни, як чоботи, – в розмір – не ті!..
Всі замкадці – мовчазно ідуть на забій.
У тюрмі цвинтар є – м'ясо в попіл гние...
Відлітайте, слов'яни, у небо своє!

За крок єдиний до Вокзалу –
Раптовий, але звичний сон...
Нікому, мила, не сказала,
Що снюсь тобі перед Різдом.

Нехай в мій сон повірить доля,
Що берег цей віддав нам Бог,
Що ми виходимо до моря,
Але не вдвох, але не вдвох...

Весь інший світ – несправжня тиша,
Всі інші сни – як шум, як дим...
А що роками мені снився –
Я і тобі не розповім.

В цьому домі живуть тільки вікна,
А за ними – рослинами в'януть
Духи, що нерухомі – навіки,
Що вростають примарами в пам'ять.

І коли у це прокляте місце
Босоніж, без квитка, ти заглянеш,
То впізнаєш себе по намисту
Серед дивних істот, що є – мани...

Твої руки, повір, – невагомі...
Погляд мій – каяття не зламало...
Тобі здасться: з нірвани – цей гомін,
А самі ми – імла та примара...

Бісом був цілований
Кожний, хто грішить.
Прошу, видай знову нам
Дублікат душі.

Падав я, щоб радісно
Ріс пекельний сад...
Я тепер так жалісно
Прошу дублікат!

Щоб у час, як згину я, –
Розіп'явши гріх,
Стогін над могилою
Обернувся в сміх.



ЕВГЕНИЙ ДЕМЕНОК
Одесса – Прага

SUB ROSA

Sub Rosa

21 декабря 2014 года потомственный главный бухгалтер Константин Сергеевич Долгоруков пришёл с работы домой и сел за обеденный стол. Он был дома один, супруга с работы задерживалась, и, собственно говоря, он мог бы усесться на диван или даже в кресло, ведь стол был пустым. Тем не менее, он сел именно за него, повинуясь неясному ещё внутреннему порыву. Захотелось думать о чём-то прекрасном и даже записывать свои мысли. Константин Сергеевич попробовал было встать и пойти в соседнюю комнату за листом бумаги и карандашом, но внезапно это показалось совсем неважным.

Он закрыл глаза, и поток невнятных образов увлёк его. Ему словно начали показывать кино, и он был настолько этим фильмом очарован, что собственные мысли оказались вовсе и ненужными, куда-то отступили, никак не мешая той звенящей тишине, в которой он вдруг оказался.

Он находился то в центре, то сбоку огромного цветка, у которого вместо отмирающих старых выросли всё новые и новые лепестки. Цветок был огромным, рос из воды и казался ему то лотосом, то розой. По сравнению с этим цветком сам он был просто крошечным, но это его никак не беспокоило. Иногда ему казалось, что сам он – один их этих лепестков. Иногда – что просто сторонний наблюдатель.

Вдруг Константин Сергеевич ощутил рядом с собой некое присутствие кого-то величественного и вместе с тем прекрасного. И эта величественность его тоже совсем не пугала.

Без всякого интеллектуального напряжения и сомнений он вдруг осознал, что это Бог. Осмыслить его он даже не пытался, но попытался почувствовать.

И ему это удалось.

Легко и естественно он понял, что два главных чувства, которые испытывает – это чувства любви и абсолютной защищённости. Ничего плохого больше никогда не могло произойти.

Слёзы сами собой покатались из его закрытых глаз. Он был абсолютно счастлив.

Так же, с закрытыми глазами, он услышал, как открылась дверь. Жена позвала его с порога, и, не дождавшись ответа, вошла в гостиную. Постояла возле него молча, с некоторой тревогой спросила, всё ли в порядке, погладила по голове и ушла на кухню.

Роза продолжала распускаться, но как-то поблекла – если вначале она была то красной, то золотой, то теперь стала то сдержанно бежевой, то голубоватой. Чувство божественного присутствия стало слабее. Ощутимо слабее. Появились мысли. Он вспомнил вдруг, что состояние полного отсутствия мыслей испытывал перед этим лишь однажды, сидя ранним утром на галечном пляже в Гурзуфе, когда волны, накатываясь и убегая, переворачивали камни. Мысль эта была ему сейчас совершенно не нужна, но отогнать её, как и последующие, он уже не мог.

Постепенно он начал приходить в себя. Сделал несколько глубоких вдохов и выдохов. Осторожно открыл глаза. Взглянув на часы, удивился – он просидел так почти полтора часа.

Того, что с ним случилось, жене он объяснить не смог. Не хватало слов, а те, что были, казались по сравнению с пережитым ничтожно пустыми.

Если бы он увлекался мистикой, глубже разбирался в философии или в истории религий, то непременно бы вспомнил, что уже в Упанишадах лотос, растущий в океане бесконечных рождений и смертей, представлял собой проявленную вселенную. Возможно, вспомнил бы, что Брахма, бог творения в индуизме, создатель вселенной, родился именно из цветка лотоса, выросшего из пупка Вишну.

Занимайся он йогой, наверняка бы вспомнил, что падмасана названа именно в честь лотоса, а каждая из семи чакр имеет форму лотоса разного цвета и с разным количеством лепестков. И, без сомнения, вспомнил бы и то, что в западной культуре место лотоса как центра мироздания и символа вечно обновляющегося мира занимает именно роза.

Может быть, он вспомнил бы средневековую легенду о чуде с розами и символ розенкрейцеров. Начал бы припоминать богов и святых, атрибутами которых является этот цветок.

И уж точно, стопроцентно решил бы прочесть наконец «Розу мира» Даниила Андреева.

Но все эти далёкие от прикладной, практической пользы и не имеющие экономической составляющей знания Константина Сергеевича никогда не интересовали. Были ему совершенно чужды. Поэтому никакие такие мысли и ассоциации в его голову не приходили.

Но, возможно, в тот момент они бы ему даже помешали.

Два папы

Теперь всё сошлось.

Удивительно, как я не заметил этого раньше.

Хорошо, что понял сейчас. Ведь всё так очевидно.

Они были такими разными – и в то же время похожими. Родились в один и тот же день. Первый, художник, был старше на семнадцать лет, но пережил второго почти на шесть.

У обоих был повреждён левый глаз. Одному даже пришлось его удалить, и всю жизнь он носил искусственный. Не представляю себе этого. Не представляю, какие именно искусственные глаза делали сто лет назад. Наверняка они были тяжёлыми и твёрдыми. Потому и приходилось напрягать всё время мышцы лица. Потому недоброжелатели и называли его «кривомордым». А как с таким глазом спать? Нужно ли было класть его в стаканчик, в специальный раствор, как вставную челюсть? Вопросов много.

Плюс во всём этом был один – не пришлось идти на войну, погибать за родину. Говорят, он даже вынул на спор где-то

на Дальнем Востоке свой глаз, чтобы доказать офицеру, что непригоден к военной службе. Доказал. Выжил – единственный из братьев. Войну и насилие всю жизнь ненавидел. Вспоминал с ужасом, как отец брал его с собой на охоту, и пришлось однажды добивать перочинным ножом зайца.

Другому повезло больше. Глазной дефект был врождённым, достался ему от матери, но внешне не был заметен, потому популярностью у женщин он пользовался гораздо большей, чем первый. Но на войну всё равно не взяли. А он хотел. Очень хотел. И поехал на неё, обрадовавшись кадровому набору Красного Креста. Отцовские уроки охоты и рыбной ловли воспринял с восторгом – и не мыслил свою жизнь без них. Как и без войны – после первой, спустя девятнадцать лет, принял участие во второй, а затем и в третьей.

Оба страстно любили море и не мыслили свою жизнь без яхт. Первого в это втянули сыновья, и он написал сотни холстов с палубы небольших семейных парусных лодок – только такие они могли себе позволить. Он даже завещал развеять свой прах с борта любимой яхты, что сыновья с внуками и сделали.

Яхта второго была моторной, он владел ею целых двадцать семь лет, и название её стало именем нарицательным. Правда, и тут он не мог обойтись без войны – охотился на своей моторке за немецкими подлодками. И ловил, бесконечно ловил рыбу – всех этих марлинов и акул. Чего первый терпеть не мог. Интересно, что в своём предпоследнем романе, полностью посвящённом жизни в море, он представил сам себя в образе художника.

Оба прожили большую часть жизни на островах. Оба любили Флориду. Первый устроил выставку на Кубе год спустя после того, как второй, живший как раз там, получил Нобелевскую премию. Второй, конечно, об этом не знал, да и вряд ли вообще догадывался о существовании первого. Первый же второго читал и ценил.

Рождение в один день. Повреждённый левый глаз. Страстная любовь к морю. Мало того – обоих во второй половине жизни называли «папами».

Они никогда не были друг с другом знакомы. Но с тех пор, как я прочёл в детстве биографию второго, я мечтал стать автором книги в этой существующей уже почти девяносто лет серии. И, только написав биографию первого, понял, как много в их судьбах удивительных совпадений.

Олег Аркадьевич

Ему было четырнадцать, когда он записал в своём дневнике: «Хочу стать поэтом. Мой идеал – Лермонтов». В том же году были написаны первые, неуклюжие стихотворения, которые он, стесняясь, читал на занятиях поэтической студии во дворце пионеров. Окна студии выходили на море и Приморский бульвар, носивший тогда никому ничего не говорившее имя Фельдмана.

Одесские пейзажи не могли не найти отклик в тонко чувствующей душе. Вскоре он поступил в художественное училище – чтобы походить на Лермонтова окончательно.

В семнадцать он открыл в себе способности предсказывать будущее по почерку. Это казалось удивительной забавой, пока знакомая девушка не утонула в море точно тогда, когда он ей это предсказал.

После этого он дал себе слово заглядывать лишь в своё собственное будущее. Своё и ближайших друзей. Получалось с трудом – желающих приоткрыть завесу тайны было множество.

В двадцать он записал в дневнике: «Повторяя чужой почерк, я проникаю в самую гущу мыслей человека. Я вижу мир его глазами, испытываю его чувства. Возможно, если я получу доступ к рукописям Лермонтова, я смогу разгадать секрет его таланта. Стать великим поэтом».

В двадцать два он ушёл на фронт. Воевал в кавалерийских войсках, был ранен, контужен. Лечился в госпитале в Пятигорске. В 1944-м писал оттуда сестре Татьяне:

«Поэзия. Она убила во мне много хорошего. Вообще поэзия – это искусство, ведущее к пропасти душевной, а нередко и к смерти.

Лермонтов. Я был в Пятигорске. Ну и местечко. Я в долгу перед пятигорскими улицами, цветниками, горами. Целую и невредимую встретить после резни мечтает Олег сестру...».

Тогда же он начал писать поэму «Лермонтов в Пятигорске». Она давалась с трудом. В 1946-м, вернувшись в Одессу, записал в дневнике: «Хочу бросить всё и уехать в Москву, Ленинград, засесть в библиотеках над рукописями Лермонтова и разгадать, наконец, тайну гения».

Художник на время победил в нём поэта. Вместо столиц он уехал во Львов, учиться в институте декоративно-прикладного искусства. Там он чудом раздобыл полное собрание сочинений Лермонтова под редакцией Эйхенбаума. В нём было и факсимиле рукописей поэта.

Справиться с искушением было невозможно.

В 1948-м он записал в дневнике:

«Внутренняя борьба изматывает меня. Хочу стать великим, но не хочу терять себя. Вторым Лермонтовым стать невозможно. Попробую стать собой».

Позже, вернувшись в Одессу, он выпишет тринадцать цитат Оскара Уайльда и прикрепит их на стену. Первой была знаменитая: «Будь собой. Прочие роли уже заняты».

Он устроится на работу в Музей Западного и Восточного искусства и каждую свободную минуту будет рисовать. Рисовать и писать стихи. Больше всего он будет любить работать ночами. Даже выработает специальную систему, привязанную к лунному календарю – именно в эти ночи через него проходил космический поток. Четвёртое число, седьмое, одиннадцатое, четырнадцатое, семнадцатое, двадцать первое...

Спустя некоторое время друзья и коллеги стали называть его «великим». Это не было шуткой, не было иронией, он действительно был таким. И не только благодаря блестящей эрудиции, ораторскому дару, таланту рисовальщика. Он опередил своё время, стал первым одесским концептуалистом и самым «не советским» человеком в городе. Железный занавес не мог ему помешать – он чувствовал все новейшие тенденции в искусстве.

В день своего пятидесятилетия, 15 июля 1969 года, он предсказал год своей смерти. А спустя несколько дней записал в дневнике:

«Я хотел стать собой. Наверное, стал. Но кто это – я? И что во мне – собственно моего? А что – великого князя Олега Константиновича Романова, реинкарнацией которого, по словам матери, я являюсь? Мать никогда не лгала, а Романов тоже писал неважные стихи...

Может быть, в нас нет вообще ничего своего, и мы – просто сгустки энергии воспоминаний? То, что кажется моим, это коллаж из того, что я – все мои „я“ – видели, слышали, читали в этой и прошлых жизнях? И Лермонтов – тоже часть всех нас?».

Спустя десять лет он написал:

«Стать самим собой невозможно. Невозможно и стать кем-то другим. Не нужно искать себя, нужно просто работать, творить. В творчестве лжи нет.

Искусство есть выражение зашифрованной формулы духа. Я учу улавливать пульсацию искусства во всём».

День его похорон был пасмурным и дождливым. Друзья и родные прятались под зонтами. За минуту до того, как гроб закрыли, на ветку прямо над могилой сел голубь, а пробившийся внезапно сквозь тучи солнечный луч осветил его лицо.

Реваз Леванович

Резо Габриадзе часто приезжал в Одессу и подолгу сиживал в нашем Всемирном клубе одесситов, проводя часы за беседой с прекрасными Менделеевичем и Аркадием. В силу своей глупости я не придавал этому значения, воображая, что мои казавшиеся неотложными дела важнее общения со спокойным, улыбчивым пожилым мужчиной, масштаба личности которого я тогда не понимал. И даже то, что у меня в кладовке лежали разрисованные им чемодан и «задник» для нашего спектакля «Смехач на крыше», не меняло ситуации.

Однажды Аркадий попросил меня перевезти Реваза Левановича с чемоданом из знаменитой «Лондонской» в гораздо более скромную гостиницу «Чёрное море».

Главным её преимуществом, тем не менее, была близость к дому самого Аркаши и его прекрасной Нины, которые каждый вечер принимали Резо у себя. У меня в то утро был свободный час, и я согласился.

В номере у Резо был форменный кавардак. Я с тоской оглядел разбросанную по кровати, креслам и столу одежду и книги и понял, что за час не управлюсь.

– Помочь вам собраться?

– Да, пожалуйста, дорогой, – ответил он с улыбкой. – Эти вещи выпрыгивают из чемодана, как только его откроешь, и потом начинают жить своей жизнью.

Реваз Леванович говорил неторопливо, двигался неспешно, и через несколько минут я вдруг понял, что все мои планы – форменная чепуха, а главное – быть рядом с ним как можно дольше и слушать его как можно внимательнее.

Я отменил тогда все свои дела и два дня, с утра и до вечера, расспрашивал его обо всём на свете, начиная от смысла жизни и заканчивая возникновением Вселенной. Мы часами сидели в кафе, а когда уставали, ездили по городу, который он знал не хуже Тбилиси. Он чётко говорил, какие дома хочет увидеть, и удивлял меня своим восхищением старыми металлическими решётками на окнах.

– Посмотрите на это солнышко, – говорил он. – Вам это кажется банальным, но безымянный мастер старался украсить жизнь.

В следующий его приезд в Одессу друзья поселили его в частной квартире на Екатерининской. Он чувствовал себя неважно, редко выходил из дому, и я принёс ему бумагу, краски и карандаши, чтобы он не скучал.

На следующий день он попросил меня позировать. Портрет вышел очень пёстрым, и, честно говоря, узнать меня на нём непросто. Единственная, пожалуй, точно угадываемая деталь – это хохолок, вихор на голове, который всегда торчит, когда меня коротко постригут. Реваз Леванович рисовал фломастером, пером, но больше всего – пальцем, обмакнутым в акварельные краски. Глаза мои получились зелёными, грустными, с уголками, опущенными вниз. Менделеевич

с Аркашей, первыми увидевшие портрет, тут же позвонили мне и сказали, что настоящий мастер увидел в моих глазах то, чего не вижу я сам, а именно всю скорбь еврейского народа. Я заметил только, что еврейской скорби во мне – ровно на четверть, а остальные три четверти – русская, украинская и даже польская скорбь.

Кроме Реваза Левановича, еврейскую скорбь в моих глазах с тех пор никто так и не заметил. То был, наверное, последний его приезд в Одессу. Мы виделись спустя много лет в Тбилиси, но времени поговорить по душам уже не было.

А я часто вспоминаю самый первый наш разговор в пиццерии на Большой Арнаутской.

– Как прекрасно, что этот молодой человек выучился готовить пиццу в печи, – сказал он, глядя на споро работавшего юношу. – Главное в любой стране – это ремесленники. Не страшно, если за границу уедет какой-нибудь писатель или художник. Страшно, если уедет главный бухгалтер лимонадного завода.

Уезжать или оставаться – вопрос для одесситов всегда актуальный.

Спросил его об этом и я.

– Зачем уезжать из такого города? Просто живите тут, и вы познакомитесь со всеми интересными людьми современности.

Я его не послушал.

МАРИНА МАТВЕЕВА
Симферополь

ОБРЕТЕНИЕ ВАДЖРЫ
рассказ

Про ваджру говорят многое, только в основном брешут. Одни утверждают, что это вовсе не Золотая Ложка, но дубинка или палица, которой вооружён индийский бог Индра. Иногда, впрочем, ваджре случилось попадать и в чужие руки – например, к Рудре (тут Жихарь вспомнил, что пресловутая сестра Яр-Тура именно этим именем его, Жихаря, и величала). Ваджру изготовил, по одним сведениям, прекраснорукий бог Тваштар, который ухитрился смастерить вообще всё, что только есть на свете. По другим же сведениям, создателем ваджры был певец Ушана. <...> Ваджра в сказаниях представляла то медной, то золотой, то железной, то каменной. Утверждали даже, что сделана она из скелета мудреца по имени Дадхи-чи. <...> Иногда у неё было четыре угла, иногда – целая тысяча зубцов. Ясно, что враньё: кому-то надо считать до тысячи! Или круглая, словно тарелка, или крестообразная. А есть и такое мнение, что ваджра представляет собой бычье хозяйство. Это богатыря особенно оскорбляло.

Михаил Успенский «Время Оно»

Перед дорогой дальней решил Жихарь выспаться как след. Да только очи богатырские смежил, как явился ему сон. Да ладно бы про родное Многоборье или битвы какие ярые, нет – заснилась ему Индия-земля. И чего бы ей в голову постыться, постылой? Да лады бы люди её, мужики да бабы простые, на слово вострые, али витязи с махаратхами на колесницах золочёных, нет: сами боги их завиделись, что живут не где-нибудь, а на собственной земле, что висит меж звёздами – и не шатается...

И верно, не шаталась до поры до времени. Пока не явился на неё не пойми откудова тур преогромный... али буйвол... аль бизон... Бык, одно слово. Ветром надуло, солнцем напалило, звёздным светом насыяло – ибо вот не было быка – а вот стоит. И травку пощипывает – а травка ему секвойи да эвкалипты, что на той земле до версты вымахивают. А сам таков, что кабы у слона небесного Айравата было семь братьев, то, друг за дружкой встав и начав с головы быковой, так до хвоста бы и не довели. А в холке... о том лучше не сказывать. Только за правый его рог Красно Солнышко зацепилось, за левый же – Ясный Месяц, а как зацепились, так и встали. А как встали, так всё в мире встало, особенно у людей: ни утра глаза продрать, ни ночью опочить, ни сеять, ни убирать, ни свадьбы играть... Возопили люди, восплакали. Забрались нехорошо на Солнце да Месяц, как их по индийскому-то величают:

– Сурья! Чандра! Сурья! Чандра! Сучандра!!!

Богам бы что – у них своих дел по горло. Бык и бык. Стоит и стоит себе. Никуда нейдет, никого не трогает. Древеса жует – а всё как в воздухе растворяется – и чистота вокруг, и дух приятный – роза да жасмин. Да и брань людская богам в одно ухо влетела – в другое вылетела. И сами Сурья с Чандрой хоть и на месте висят, да посвечивают. Весну приближают.

Вот тут-то богов оторопь взяла. Весна! Это сейчас бычок спокойно себе стоит, а как по весне-то ему коровка потребуется? А где такую Коровку-то взять... ежели не только рога туровы трепет вселяют, но и то, чем оные туры телят производят... И куда сие сокровище пристроить по весне-то???

Остращались боги шибко. Собрались на совет и стали думу думать. И сказал мудрейший их Брахма слова страшные, но правильные: сокровище сие надо от быка отъять. Но так, чтобы он, бык-то, не заметил, не почувствовал. А сам пусть остаётся, ландшафт украшает, туристов привлекает. И по весне тоже спокоен пребывает.

Услышали боги Брахму – и пущей задумались.

– А он-то живой вообще? – Вышень вопрошает. – Мы не проверяли, близко не подходили. Может, он из праны соткан, а коли так, то там ничего не отъять. Да и не надо отымати, ибо ежели из праны, то Весна там до Пураны.

– А ежели живой? – Варун вскочил. – Нет, надо проверить. Я иду! Кто со мной – тот герой!

Все герои. Все пошли. Хоть одно копытце быково было выше всех богов, но таки это было копыто – всамделишное, не из праны, не из саттвы, не из тапаса, не даже из туманного марева. Приставили лесенку позолочену, исследовали бычью ногу заднюю – всё как у быков: кожа, шерсть, кость внутри... Кто из богов летать умел, на спину турову взлетели, хоть и с трудом, – но сей беспрецедентный полёт показал, что и спина как спина, только шерсть больно густа. А как хвостом до спины домахнёт... уж лучше скорее вниз, пока лётная снасть не утомилась.

До главы никто лететь не решился. Ибо обреталась она во ясных звёздах да подзвёздках, а такого лётного механизма боги те ещё не удумали. Только Сурья да Чандра умели, но вот висят на рогах да лишь тогда и шелохаются, когда бык главою поведёт. А от того во всех мирах день с ночью как попало меняются.

А вот Весну-то не проспийшь. Уразумели боги, что раз весь бык живой, то и причиндал его бычачий превеликий тож не мёртвый. Значит, надо делать, как Брахома рёк. Иначе-е-е...

Но как??? Как такую тонкую бритву наладить, чтобы буйволице и не почуял ничего? А то ж как всхорохорится... миров не соберёшь!

На боговой земле мастеров отродясь не водилось – боги все как есть цари да герои, не геройское это дело – бритвы править. А тут ещё нужна такая, что только двадцатером и подымешь. Где такого мастера взять?

Только на людской земле.

А самыми славными кузнецами в те поры были три названных брата: Микула, Вакула и Накула. Жили они в деревне небедной, да ещё и всяким рукомеслом славной.

Меньшой их, Микула, такую силу имел, что мог одной рукою столетний дуб с корнем вырвать да на крону корнями вверх поставить. А коли так, то и любой молот ему по силе, даже такой, что танк отковать может. Что есть такое танк, то только на высших кузнечных курсах проходят, а Микула не дорос ещё – всего тринадцать годков стукнуло.

Середний, Вакула, таков был ушлый да быстрый, что мог на перевёрнутое братцем дерево взбежать да меж корней его сплясать. Но более всего славен был умением добывать царицыны черевички: видно, слово знал – любую правительницу враз уговорит, и на спор с приятелями уже через три дня из любого царства их Индийского царицыну обувь – прям с белых ножек снятую! – приволочёт. И красным девицам на подарки (коли их суженые выкупят), и просто в избу-музей – себе на славу, сынам на память. А потому береглись в той деревне черевички ото всех цариц Индийских: и от владычицы слонорадской Гандфари, и от подружки её, тож царицы, но без царства, прескромной Кунтикулы, и от покойной уже царицы Ядрёны-Мадрёны эксклюзивные ея охотничьи сапожки, в каких она мужа своего под монастырь подвела, и от дварацкой старшей царицы Рукнемыни, и от второй жены тамошнего царя, вице-царицы Сватья-Бхамбы по прозванью Бабариха, и ещё от ста восьмех вице-цариц дварацких, пока не надоело в одну сторону хаживать. На почётной подушке бархатной стояли красные чёботочки самой Царицы-о-Пяти-Мужьях, а имя ей Чёрная (она, видать, не только рук не мыня была, но и личика), и, страшно сказать, унты самой царицы ракшасов-людоджоров Ходимбы! Но это точно врака, ибо кто знает про ракшасов тех, так тот знает: отродясь босые ходят, ибо не ноги у них, а лапищи о двенадцати когтях. А поелику за добычею унтов, ичиг да мокасин державных силушки Вакула превеликой нажил, то раздувал он в той кузнице мехи, и так раздувал, что и танк бы сковал, кабы знал про танк.

А вот старшой их, Накула, знал. Хоть был он что тростинка строен, рожницей румян да, как лотос, пригож, а поднять мог только самый малый молот, и то лишь на канате через колесо, зато окончил высшие кузнечные курсы у самого великого гуру Сопромата. И командовал этими двумя дубами. Да преуспешно. А то говаривали мудрые люди-то, что никакой он, Накула, не кузнец, а королевич в изгнании. Мол, продулся в бабки до порток, теперь от ямы долговой лытает. Да только мордашку Лель-Полеля нашего узрев, не о яме долговой дума приходила, а о подоле чьём-то высокородном – небось, какая дочка раджи али магараджи, а то и самого шахиншаха

от красавчика отцу подарок принесла, а грозный царь и повелел: или женится Накула – или голова с плеч. А умнику нашему ни та, ни ся дорожка не гладка, вот и хоронится в деревне, принц-инкогнито.

Явились боги, все как один, к Накуле, Вакуле да Микуле – и исподволь так рекут:

– А можете ли вы, премудрые, сковать бритву столь тонкую, что ею руку чью перережь – так он и не почувет? Вот что-бы сама кровь не поняла, что ей куда-то течь надобно – а где была, там и осталась? Да на такую руку – чтоб вот на великана-волота – асура по-нашему?

– Сковать-то можем... – Накула приосанился. – Да вот, что-то мне подсказывает, что не про руку вам она... И не про волота.

Смекнули боги, что без правды-матушки не выйдет дело. Повинились, всё как есть обсказали, и про Весну тож. Как услышал про то Накула, враз братьев малолетних из избы изгнал – рано им ещё. Но сказал так:

– Сделаю вам такую бритву. Есть у меня колдовской металл – тантал, он с любым живым телом в контакт вступает так, что то тело его за свой принимает, будто он кость какая али нерва. И срастись может, ежели там оставить, и так разрезать, как вам надобно. А к нему добавочка для крепости – вольфрам. От самих горных карл в дар получил, никому из нончих кузнецов боле металлы сии не ведомы, и вы их имена не запоминайте – ибо чары тех имён всем, кто не таков, как я, особенный, зело темны. Но чтобы знали, говорю: не фуфлыга вам выйдет какая, а редкий Весчь, что в веках ещё прославится. Будет это агромадного размера тонкий-претонкий круг сияющий – с виду как златой, для конспирации, – о мельчайших зубцах. По-вашему – чакра, по-нашему – болгарка. Ибо круг тот будет вертеть прехитрый механизм, вам только кнопку жать. Но жать всем и сразу, ибо кнопка велика и работа – предолга. Враз не отчекрыжите, попотеть придётся – зато ничего не почувет ваш кабан и не вострепетнётся. А прошу за то немного: я тут королевич в изгнании, да не один, ещё четыре брата у меня по разным весям маются за игру в бабки препостыдную. Так вот прошу, чтобы каждого из нас

вы, боги небесные, своими сынами назвали, в скрижали об том записали, и чтобы на века. А как позабудет кто – так чтоб того дураком величали.

Неохота богам было каких-то побродяг сынами звать, да согласились, хитрый Вышень скрижали начертал – да себе и припрятал: сразу смекнул – пригодятся.

Обрадовались боги и стали ждать. И уже о третий день выдали им побратимы-кузнецы Чакру преогромную, да такую тонкую, что на просвет все звёздочки видать. Но тяжёлую, что гора. Особливо из-за прехитрого механизма.

Еле взгромоздили боги Чакру на небо – да тут же и наладились на бычье хозяйство. А как посредством каменной кладки до него добрались, то узрели в удивлении превеликом, что и правда сокровище сие, ибо он из белого нефрита сработан, даром что живой, да такой красы неописанной, что сказы слагать хочется, да именовать превыспренно – Нефритовый Стебель. И слёзы на глаза горячие, что надо сие отъять.

Но слёзы слезами, а Весна Весной. Приступили боги, помолясь самим себе, к делу. Наладили Чакру, приставили куда надо, кнопку всей оравой нажали – заработал диск золотой... В нефрит входит так, словно в масло – ни тебе пылинки, ни соринки... И бык стоит себе, секвойи доедает, на дубы столетние косится, от ёлок невкусных отплевывается... Будто и не отымают у него ничего.

Да вот прошло два дня – а Чакра та только на палец продвинулась. Боги пущей кнопку жмут, ногами, рогами, крылами упираются...

Пилят-попилят – отпилить не могут.

Додумался мудрый Брахома кликнуть ещё и богинь – всех их матерей, сестёр, жён да полюбовниц, какие есть. Прибежали богини, уселись на кнопку своими крутыми бёдрами поверх рук, ног и рог боговых...

Пилят-попилят – отпилить не могут.

Догадалась самая умная жена Брахомова, Сарочка, кликнуть ещё и всех их боговых детей, сынов да дочек, вплоть до тех, кто еще в колыбели агукают. Набежали все, а кого няньки принесли, – да насели-налегли на кнопку. Крутится Чакра, вертится, жужжит-визжит, ажно искрить ужю начала от перегреву-то...

Пилят-попилят – отпилить не могут.

Докумекал сынок один, Скандал-бог, даром что младенец шестидневный, а уже кому-то из вологов башку снести успел, значит, и у самого ума палата: кликнуть весь их боговый ездовой да выючный небесный скот: у кого рыба на ногах, у кого слон о семи хоботах, у кого орёл-птица с человеческим ликом, у кого лебедь обычный да павлин нормальный – одно слово, что есть. Набежала зверь, навалилась...

Пилят-попилят – отпилить не могут.

А о те поры, по малости своей сих свершений великих да грозных не видючи, просто по делам своим бежала мимо мышка-норушка. Да, опять же, по мелкости нутра вверх да вниз не гляючи, а только вперёд, набежала случаем на стопу бога Индры, что по кнопке первый был герой, да без толку. Защекотало Индре ноженьку, стал он потрясать ею – а мышка-то с перепугу и давай кусаться! Опустил Индра божественные очи долу – глянуть, что оно там такое, – да как возневается!

– Ты почто, мышь, о мышь, тут кусаешься? Ты почто с ноги моей не стрясаешься?!!

– А по то, Индра-пындра ты еловая, а по то, ох, Индра-свиндра ты дубовая, – мышка ему пищит – даром что мелюзга, а писк отрастила знатный, – что не просто мышь я тут побегучая, да не так себе мышь погрызучая, а из того я рода высокого, где прабабка моя знаменитая хвостиком махнула – Яйцо

Мировое упало – и разбилось. И от того Яйца мир явился, и с того хвостика и вы все на свете есть!

Индра мышку на ладонь поднял.

– Маловат хвостик-то...

– Да, – отвечает норушка остроглазая, – обмельчал наш род с тех пор. Но прабабка моя, Махамышь, была поболее горы Кхмеру. Но не сие главное. Не оно основное. А то, что приём тот, технологию – как хвостом махать, чтобы Мировые Яйца бить – у нас из поколения в поколение передают. И мне она, техника она, ведома. Не смотри, что хвостик мал – ты мне только Мировое Яйцо покажи – уж я ему устрою!

– Да мы тут как бы не с Яйцом дело имеем... – засомневался Индра, гляючи на собратьев, сосестёр да чад с домочадцами,

что кнопку давят – аж посинели все... а он тут с мышами любезничает.

– А с чем? – норушка не отстаёт. – Подними повыше, дай развидеть... Ага. Яйцо-таки мы имеем. И не одно... Вот только вам не они нужны, а... их логическое продолжение. Не знаю, не пробовала свой приём на продолжениях логических, но поскольку мы все из Мирового Яйца, значит, на наше всё техника моя действовать должна. Так! – раскомандовалась правнучка Махамыши. – Хвостом я махну. Но попаду им по острому краю Чакры – и хвост потеряю. Нужен кто-то, чтоб супротив Чакры встал – я по нему бить буду. Так Чакра в Нефритовый Стебель враз зайдёт и неотделимое отделит. Но и тот, кто пред хвостом станет – тоже перережется.

– Это ж как? – боги вскричали. Кнопка кнопкой, а беседу велемудрую нашлось кому подслушать. – Сиречь, кому-то из нас надобно себя в жертву принести?

– Вам-то что, – мышь рече, – вы бессмертные. Да и Чакра такова, что перерезанный ничего не почувет, просто на два тела да на две души разделится. Будет его не один, а двое.

– И почто нам двое Брахом? – Брахома изрёк. – Чтоб меж собою ссорилися, кто мудрее? Каков тогда порядок будет в мире?

– И двое Индр нам не надобно! – Индра востревожился. – Мы ж друг дружку поубиваем на предмет кто сильнее, да у кого славы боле!

– И двух Варунов... и Вышней двух... и Сарочек две не надобно – ещё космы друг дружке повыврут, кака умней... А уж два Фшивы – так вообще придут нас воевать злобные Кранты. Они так и сказали: не приведи вам карма, чтобы стало два Фшивы... – залопотали боги.

Некому себя в жертву приносить...

– Ну, и идите вы, – сказала мышка. – Пилите. Как Весна придёт, хватитесь меня – а мне не до вас будет: мне мышенят выводить, технологиям обучать...

– Да каких мышенят! Если с энтова Нефритового Стебля да без Лотосного Грота велетенской коровки – миров не соберёшь! А Коровки у нас – нетути! Что на земле нашей боговой тогда Гротом станет – и подумать страшно...

– Ладно, так и быть, я раздвоюсь, – выступил из толпы бог Ажвынь. – Я – бог врачевания, мне с самим собою делить нечего, а вот помощник в делах целебных как раз нужен. Меня делите!

– Уф! – сказали боги.

И вновь наладили Чакру, встал супротив её ребра Ажвынь, а по другую сторону круга – Нефритовый Стебель. Мышка на ладони Индровой rrrrrразбежалась, через себя три раза ковыркнулась, на заднюю лапу восстала, вытянулась вся – да, возверещавши «Иййй-я-а-а-а-а!!!!», как с лёту хвостом по Ажвыню – хлобысть!!!

Вмиг Ажвынь на два Ажвыня разделился, они друг ко другу обернулись с улыбками велерадостными – да давай обниматься-брататься! Но не сие было главное, потому их отодвинули.

А Нефритовый Стебель на земле возлежал. Отпиленный. А бычку хоть бы что – он уже дубы доел, до баобабов добрался...

Столпились боги вокруг отпиленного – и дыхнуть боятся. Ибо уж как хорош собою стебель из белого нефрита – прямо скипетр царский! Да нет царя такого, чтобы в руку его взять и на трон воссесть. А раз нет царя – то лежать нефритовой глыбе тут без дела. На неё даже взобраться сложно – уж больно гладка да поката, хоть и в бороздках да прожилочках вся, да и те глаже бархата... Особливо наверхие собою прекрасно: в углублениях его, что по бокам, по два-три бога могли бы слева и справа преудобно улечься, дабы предаться медитации «Конь в долине». А ежели кто взгромоздится на самую оконечность да воссядет прегордо, что на слоне, так чудесные парсуны геройские да царственные писать с такого было бы сподручно... вот толь всё равно наверхие сие на парсунах тех пришлось бы под слона перемалёвывать – а и с чего бы тогда на него громоздиться?

Индра вдруг очами засверкал и сказал:

– Моё. Я мышшь изобрёл – я отпилил. Мне и володети.

Переглянулись боги.

– Ещё кому надо? – Брахома спросил.

Снова переглянулись боги с богинями – да и поняли, что не надо никому. И с чувством выполненного долга по Спасению Вселенной разошлись, приглаживая встопорщенные

бороды да растрёпанные косы. Вышень, личность творческая, от впечатлений таких изловив озарение, по пути наигрывал на своей флейте переливчатой мелодию нового напева-страдания: «Белеет фаллос оди-нокий!», и уж так страдально получалось, что аж сам зарыдал-зашмыгал... да и бросил песню эту, другую заиграл, плясовую: «Эх, бык да кабык, а олени лучше!».

Индра же приказал своим слугам согнать под бычка двадцать колесниц лужёных, в сто слонов запряжённых. Кое-как, не без помощи семихоботного Айравата и его братьев, сумел уложить прекрасный жезл на колесницы и медленно и осторожно начал его во свою Индрию направлять.

«Поставлю на площади на попа – да стану из окна дивиться. Ни в каких мирах столпа такого, ни у кого боле нет!».

Но тут из-за куста вышел один бог, который всегда выходил из-за куста, да лишь тогда, когда остальные разойдутся. Был он горбат да неказист, и звали его Врейд. А потому Врейд, что страсть любил он всем вредить, а ещё потому, что как навредит – да извреждённый его на том за патлы куцые изловит, да заставит вредство своё исправлять, так приходится ему за сим идти и к горным карлам, и к духам, что на воздушех, и за моря-окияны, и на самое дно – одно слово, в рейд. Так и жил этот бог: сегодня вредит – завтра в рейд. Да вот как раз из оного-то нонеча и возвратился.

Подобрался он к Индре, зенки свои блеклые подъял, и тихонечко так говорит:

– А не боишься ли ты, о Индра Великий, что сей преогромный и воспрекрасный предмет созерцая, а потом во время омовения свой узрев, а потом снова сей созерцая, а то снова свой... не устыдишься ли ты того, что твой-то рядом с сим и мал, и не столь прекрасен, и вообще, не вели казнить, вели слово молвить, – пендюрка... Не воспечалишься ли? Не позволишь ли усть сердце твоё хищной хустрации, что вроде червя, только не нутром питается, а духом?

Взглянул Индра на добычу свою восчудесную – и защемило сердце его, и загрызло... Вот она, хустрация, уже забралась...

А Врейд и был таков. Убежал, хихикая от радости, что никто его за патлы не изловил и в рейд не отправил.

И понурился Индра. И закручинился. Как взглянет на Стебель Нефритовый – ажно по телу озноб. Да как вспомнит слово тайное, заговорное, что ему сейчас изрекли, так прямо жизни нет, даром что бессмертный.

Одно слово – беда горемычная.

Но тут к нему из леса добры молодцы Ажвыни выходят. Оба один в один – рубахи белые, ниже колен, на головах шапочки круглые, на тех шапочках крестом вышито нитью красной.

– Не печалуйся, – оба-два говорят. – Был у богов один врачеватель, а стало два, а стало быть, любую хворобу в два счета изгоним – не в один. Хворь, правда, пресущественная. Скажем прямо, хтоническая. Таковые вот предметы были прежде у прежних богов превеликих и всем видом совершенных. Да, были боги в Оно Время, не то, что нынешнее племя, богатыри – не вы!.. Ох, обмельчал наш богов род, подобно мышьему, да и рожам – не сказать прочим всем – мы стали не в пример пращурам нашим... Так, что мы вот тут сами, даром, что дохтора-профессора, а подобное узрев, и те хрустрации боимся...

Индру аж заколдобило... Как представил он себе тех богов... что его, Индру могучего, могли, аки мышь пискучую, на ладонь посадить... ежли б разглядели вотще... Злохищная хрустрация в нутро, что гладный зверь, вцепилась... мочи нет...

– Но раз других богов нонче нету, – левый Ажвынь поставил, – то уж какие мы ни есть – а боги!

– А потому твоей беде легко помочь, – правый Ажвынь успокоил. – Ты энтим Нефритовым Стеблем не целиком володей. Нефрит – камень ладный, издревле славный, пока железо не удумали, из него и оружие точили. Вот и ты из Стебля того оружия наделей – ещё и жёнам на браслеты останется.

Возрадовался Индра. Пожал Ажвыням руки – да и побегал на землю людскую к кузнецам Накуле, Вакуле и Микуле. Наобещал им славы великой да черевички самой царицы Ситы. А те и рады честной работе. Своею же чакрой-болгаркой распилили они нефрит гладкобархатный, да и выточили из него сначала дубину, потом копьё, а потом и меч. А остатки на браслеты пошли.

Понравилось Индре новое его оружие. Да вот только несподручно сразу тремя предметами володети, а по очереди – не интересно. Потому вспомнил он о том, что он бог и имеет божественную силу, – и ею объединил все три орудия в одно. Да такое, что может быть и мечом, и копьём, и дубиной. И назвал он его ваджра, что по-ихнему значит молния, потому как ею из облаков швыряться и грозу устраивать шибко удобно было. Вот только браслеты Индровых жён в объединение не пошли, а потому стоило только Индре ваджрой куда шурануть, как все браслеты разом на женининих руках и ногах начинали греметь-звенеть-дроботать. Потому-то и, как люди мудрые рекли: како молния – тако и гром.

И, вроде, всё ладно-складно... да вот только назавтре хватились боги бычка – а его и нет!

Вот как стоял, последние грабы доедал, так и не стоит теперь. Только на месте том Сурья с Чандрой возлежат – это чтобы не сказать валяются, не геройское это слово – да потирают ушибленные бока.

– Где бык? – Брахома спросил.

– Сгинул! – Сурья отчитался. – И ушов от него не осталось!

– Ш-шэзз... – прошипел Чандра, выплевывая выбитые зубы. – Ужо ему...

– Куда дели быка? – Брахома брови сдвинул.

– Я не брал... – пискнул Вышень.

– Я ему вчера на хвост портянки твои, батенька, сушиться повесила... а он... а они... ой, горюшко-а-а! – заголосила Сарочка.

– Надо бы поискать... – выскочил неужёмный Варун – всё ему не терпелось Индру в подвигах да славе переогнать. – Я пойду! Кто со мной – тот герой!

Все герои. Все по...

Но тут выступил из толпы гостивший у них по обмену бог из Чайной Страны. Или то мудрец был, у них там поди разбери. Величали его Жуй Бай, и был он, как представился при встрече, покровителем тех, кто отринул суету земную, познав, что нет ничего возвышеннее почестного пира в тени цветущей сакуры, да после оногo – сладкого сна под песнь цикады.

С невозмутимым видом Жуй Бай выхватил из левого рукава своего кимоно кисть и тушечницу – и начертил на правом рукаве: «Зачем множить знания, а с ними печали, когда так нежно дуновение ветра над вершинами клёнов долины Дацзыбао?». И ему для этого потребовалось всего четыре иероглифа: А, На, Ху, Я.

И вняли боги его премудрости, и поняли, что быка искать не будут. А лучше разопьют посреди цветущих роз пару-тройку кувшинов амриты. После какой-то сказал Брахма:

– А не было быка.

С тех пор как кто по глупости заговорит про оного, так все над ним смеются:

– Опять сказка про белого бычка!

Только и запомнила Мировая Мысль, что белым был. А что не весь бык, а лишь его Стебель, того не учла. Да и зачем ей такие мелочи учитывать, когда в мире продолжались дела великие, геройские...

Даже Индра позабыл, из чего его ваджра. Все думали, что из золота солнечного, да серебра звёздного. Ибо от вечного в геройских руках вращения так её отполировал, что истинно сверкала, что молния... И только браслеты на жениных ручках да ножках иной раз шевелили в груди Индровой так до конца и не выжитую хищную хрустрацию... А потому повадился Индра и к красавицам с людской земли – доказывать, что это у него Нефритовый Стебель. А у кого ж ещё?

«Ох ты, будет что Проппу рассказать... – подумал Жихарь по пробуждении. – Бык-то для того лишь явился, дабы Индре ваджру даровать... да хрустрацию. Это чтоб ему вадиться к нашим красным девицам да витязей-полубогов могучих породить...».

А как в путь богатырь тронулся – так и ум не на месте остался.

«Так, может, я и сам таков герой – Индрин сын? Род мой неведом, племя незнаемо – а силушкой богатырской володею... И ваджра мне явилась... а потом и ушла... Видать, она всем сынам Индровым по очерёдке является – да ни у кого не задерживается, ибо всем надо, не мне одному... Ай, да будь

я Индрин сын, у меня бы хоть матушка была... А я совсем сирота одинокая...».

А как завершила тропа – так и дума завершилась.

«Так может, то и не бык был, а Индрик-зверь? До главы никто не летал – не разглядели... А то с чего бы его Индриком величать стали? Неспроста у Индрик-зверя там, где Стебель быть должен, – голое место... А происходит сам из пыли каменной... И Индриху его никто никогда не видывал...».

Долгая дорога впереди. Много дум успеешь передумать.

«Одно непонятно: куда бык-то делся? Мышка его, что ли, уволокла? С обиды, что забыли про неё, не вознаградили никак? Она могёт, Махамышина правнучка – не выхухоль какая... Не обижай малых сих – вот сей новеллы мораль! – думал богатырь, торя тропку лесную. – Не позабыть бы только... а то Пропп-то вон он, за кустом стоит, слова мудрого поджидает...».

За кустом, и правда, кто-то стоял. Только Пропп ли се был, то неведомо. Потому как Пропп – он деревянный али каменный, а потому несподручно ему из-за куста выходить, особливо когда все разойдутся...

АЛЕКСЕЙ РУБАН

Одесса

ДВОЕ ЛЕТОМ

Начало лета ознаменовалось двумя событиями, о которых Алик узнал с интервалом в полчаса. Одним утром, где-то в половине седьмого его выдернуло из тяжёлого похмельного сна дребезжание телефонного аппарата. Прошло уже несколько месяцев с тех пор, как он последний раз платил за услуги связи, и оставалось только удивляться, как его ещё не отрубили от сети. Звонил Дюша. Хриплым голосом он сообщил, что специальным указом правительства на неопределённый срок запрещалась продажа спиртного во всех магазинах страны, а также употребление алкоголя в ресторанах, распивочных и прочих подобных местах. Пробормотав несколько матерных слов, Алик положил трубку и двинулся к рассохшейся тумбочке, на которой возвышался сорокапятисантиметровый «Интергалактик». За время кризиса все ценные вещи давно перекочевали из квартиры в скупку, но за фирменный, зарубежного производства телевизор, подаренный братом ещё в прошлой жизни, хозяин готов был держаться до последнего. На экране курчавый, красномордый, с сальным взглядом министр пропаганды вещал о необходимости сохранять трезвость сознания перед лицом надвигающейся опасности. Алик представил себе крепышей в синем среди пустых полок ликёро-водочных отделов и выключил телевизор. Мысль его метнулась к шкафу на кухне, к одинокой бутылке, где после вчерашнего должно было остаться не менее трёхсот грамм. С минуту Алик в раздумьях переминался с ноги на ногу, а потом отправился в туалет. Из сливного бачка он достал прикреплённый скотчем к стенке свёрток, разложил на тахте купюры и зачем-то дважды пересчитал. Потом он отложил в сторону несколько бумажек и перевёл взгляд на оставшиеся. При должной экономии могло хватить на шесть-семь недель. Приблизительно столько же времени у них и оставалось до конца, исходя из расчётов Алика. Деньги принадлежали его брату. Два года назад, в благословенную

докризисную эпоху, он оставил их на хранение перед отъездом в командировку на Запад. Тогда ещё никто и помыслить не мог о перевороте, закрытых границах и инфляции, превращавшей в прах то, что копилось годами. Командировка брата оказалась бессрочной. Алик знал, что не имел никаких шансов увидеть его снова, но продолжал хранить деньги с упорством обречённого. Утреннее сообщение лишило это всякого смысла. Покончив с подсчётами, он спрятал купюры на место и уже собирался набрать номер Дюши, когда телефон снова начал сотрясаться в конвульсиях. На том конце провода был Базз, с которым Алик занимался проведением электричества в недавно выстроенный особняк местной партийной шишки. Оказалось, что ночью особняк сожгли неизвестные, таким образом, у Алика отпадала необходимость отправляться на объект. Об оплате за предыдущие две с половиной недели работы, само собой, не имело смысла даже заикаться. Закончив разговор, Алик позвонил Дюше. Трубку взяла Марина. После последнего скандала на почве Дюшиной ревности и безденежья обоих они перестали жить друг с другом как муж с женой. Марина перегородила их комнату ширмой, в результате чего каждый получил по шесть метров жилого пространства. Они прекратили здороваться, в остальном же их отношения даже улучшились. По крайней мере, Марина не приводила в дом своих мужчин, а Дюша был избавлен от необходимости выслушивать упрёки по поводу запаха перегара по утрам. К Алику бывшая жена друга относилась прохладно, но без видимого отвращения, поэтому пообещала попросить Дюшу перезвонить, когда он вернётся после разгрузки вагонов. Следующие несколько часов Алик занимался разгадыванием кроссвордов в старом журнале. Телевизор он включил всего один раз. По всем четырём каналам обсуждали решение Совета Десяти, поставившего стране ультиматум. Правительство должно было открыть границы и дать свободу политическим заключённым, в противном же случае Запад собирался начать военные действия. В три раздался звонок. Алик изложил суть дела, и Дюша изъявил желание немедленно приехать. Появился он только через полтора часа. Где-то между периферией и центром доведённые до отчаяния

изуверскими условиями труда медики перекрыли дорогу и стали жечь резину. На место приехали люди в синем и, поработав дубинками, разогнали собравшихся, оставив на асфальте несколько трупов. Движение транспорта парализовало, и Дюше пришлось добираться пешком. Не теряя времени, друзья отправились по адресу, записанному на мятой квитанции из обувной мастерской. Нужно было успеть вернуться до темноты, так как ходить ночью по городу давно стало небезопасным. Пока они тряслись в разрисованном убогими граффити вагоне трамвая, Алик рассказывал Дюше, как познакомился с владельцем объекта вожделения. Это было поздней осенью, в бесконечной очереди за маргарином. От скуки Алик разговорился со своим соседом. По виду типичный интеллигент, инженер или научный работник, тот по какой-то причине проникся к собеседнику доверием и рассказал о доставшемся ему от племянника чудо-аппарате. Племянника забрали в армию, хотя до призывного возраста ему оставалось ещё полгода, и он передал дяде свою главную ценность. Парня по случайности застрелили, на учениях кто-то перепутал холостые с боевыми. Интеллигент сказал, что готов был продать аппарат, и даже назвал сумму. На всякий случай Алик записал его телефон, хотя и сознавал, что таких денег не смог бы собрать никогда. Дюша слушал друга, наблюдая, как за стеклом проносились чахлые, иссушённые жарой деревья. Трамвай, нелепо размалёванное чудовище, привёз их на другой конец города. Они вошли в пропахший мочой и бедностью подъезд с зияющим, навеки остановившимся лифтом и поднялись по щербатым ступеням на восьмой этаж. На стук открыла, ничего не спрашивая, грузная неухоженная женщина с младенцем на руках. Ещё двое мальчишек лет четырёх-пяти цеплялись за её мощные бёдра. От захлавленной прихожей со свисающими со стен полосами обоев несло такой бедностью, что хозяева могли вообще не закрывать двери, уходя из дома. На зов женщины появился интеллигент. Сутулый, с мешками под глазами и перхотью на воротнике спортивного костюма, он узнал Алика и как-то смущённо заулыбался. Алика кольнула мысль, что они опоздали, но интеллигент пригласил их пройти в комнату. Он действительно собирал-

ся отнести аппарат в скупку, и не появившись они, сделал бы это в ближайшие дни. В комнате стояла раскладушка с наваленными на ней горами тряпья, колченогий стол и допотопный отечественный телевизор на подоконнике. К телевизору был подключён он. «Dreamcatcher-3000», игровая приставка с внутренней памятью, способной вместить до пяти десятков игр. Покопавшись в тряпье на раскладушке, интеллигент выудил из него два джойстика, подсоединил к приставке, протянул контроллеры друзьям и нажал на кнопку включения. Увидев заставку на экране, Алик и Дюша испытали настоящий экстаз.

Выйдя из многоэтажки, Алик с коробкой подмышкой отправился к трамвайной остановке, Дюше же предстояло пройти пять кварталов до стоянки автобусов, следовавших в его район. Искушение тут же приступить к освоению «Дримкэтчера» было невероятно сильным, но ночью Дюшу ждала разгрузка ящиков, поэтому испытание аппарата решили отложить до следующего дня. Дома Алик почти сразу отправился в постель, надеясь во сне убить отделявшее его от сладостного момента время. Спал он плохо, постоянно просыпался и ходил на кухню пить воду из-под крана. Дюша, мокрый и красный, явился к десяти утра. С вокзала он сразу отправился к Алику, пожертвовав заслуженным отдыхом после работы. Была проведена инспекция содержимого памяти приставки. Решили выбрать шесть игр с учётом того, что в среднем на прохождение одного проекта уходила неделя. За спиной у друзей были университетские коридоры и работа аналитиками в крупном банке, национализированном после переворота, так что кое-что в политике они понимали. По самым оптимистичным их прогнозам до начала войны оставалось два месяца, если же смотреть правде в глаза, то не более полутора. Сошлись на гоночном симуляторе, файтинге в древнегреческом антураже, двух стрелялках и мультяшной аркаде. Напоследок оставили «Мёртвую луну», венец творения разработчиков, с толпами зомби, умопомрачительным арсеналом оружия, логическими загадками и ночным городом, который нужно пройти до рассвета, чтобы успеть на корабль, увозящий немногих уцелевших после заражения.

Игра была действительно сложной, и друзья рассудили, что могут и не успеть пройти её до конца, предпочтя перед этим насладиться другими проектами. Теперь большую часть суток они проводили на полу с прилипшими к ладоням джойстиком. Дюша по инерции продолжал ходить на работу, откуда шёл напрямиком к Алику, недолго дремал на продавленной тахте и вновь возвращался к «Дримкэтчеру». Время, которое Дюша тратил на загрузку и разгрузку составов, Алик использовал для походов на море, ритуальных прогулок, позволявших ему восстанавливать силы для продолжения виртуальных битв. Он выходил из дома с восходом солнца, когда на пляжах ещё не было толп горластых подростков в прыщах, с прилипшей к губам шелухой семечек и неумело сделанными татуировками на бицепсах и груди. Он приходил на побережье, недолго плавал в тёплой грязной воде и отправлялся в обратный путь. Каждый день он сталкивался с всё новыми признаками приближавшегося конца. Они были повсюду, в заколоченных дверях магазинов, в кучах мусора, гниющих у обочин, в лицах постовых, а однажды он видел плававшую в придорожной канаве дохлую собаку с чудовищно раздутым животом. В аллее, ведущей к пляжу, Алик встречал старика в затрапезного вида штанах и мятой рубашке, молчаливо протягивавшего прохожим путеводители по городу, который уже было не спасти. Болезненного цвета кожа старика туго обтягивала его лысый череп с двумя хохолками седых волос, торчавших как уши летучей мыши. Однажды Алик, повинуясь неясному импульсу, протянул старику какую-то мелочь. Тот, не издав ни звука, сунул Алику в руку брошюру и, покачиваясь, пошёл дальше, даже не взглянув на деньги. Потом он исчез. Проходя по аллее, Алик представлял, как худые ноги старика в нелепых брюках торчат из дверей ванны, куда он зашёл, но так и не нашёл сил выйти. В начале июля Алика едва не избили прыщавые парни в татуировках. Они шли ему навстречу в компании своих похожих на молодых свиноматок подруг. Кто-то громко прокомментировал внешность Алика, тот сделал вид, что не расслышал, прибавив шаг. Внезапно за его спиной раздалась матерная брань и топот ног. Не оглядываясь, Алик бросился прочь. Он бежал, изо всех сил

напрягая отвыкшие от физических нагрузок мышцы ног, понимая, что если его догонят, дело не ограничится только царапинами и синяками. Лишь очутившись на людной площади, он позволил себе остановиться и долго стоял, прислонившись к столбу, с выпрыгивающим из груди сердцем. Днём он рассказал о случившемся Дюше, когда они закончили прохождение стрелы, предпоследней в списке запланированных игр. На очереди оставалась только «Мёртвая луна». Дюша поразмыслил несколько секунд и заявил, что они не могли позволить себе тратить время на что попало. На следующий день он не пошёл на вокзал. Судя по новостям, которые друзья смотрели, ненадолго отрываясь от джойстиков, времени у них действительно оставалось всё меньше и меньше. «Луна» оказалась настоящим шедевром. Алику и Дюше предстояло спуститься на первый этаж кишашей зомби высотки, решить ряд загадок, чтобы спасти прячущуюся в подвале журналистку, убить её на спортплощадке, когда она всё же заразилась, выжить в огромном торговом центре, добраться до подземного паркинга и на машине доехать до пристани, где ждал корабль. Отныне друзья прерывались лишь на короткий сон, походы в ближайший магазин и еду. Питались они лапшой быстрого приготовления, дешёвыми сосисками и яблоками, запивая всё это водопроводной водой.

Утром десятого дня, прошедшего с того момента, как они принялись за «Мёртвую луну», шёл дождь. Алик проснулся раньше друга и несколько минут лежал, прислушиваясь к шуму воды. Окно в кухне было открыто, и квартиру наполняла прохлада, столь желанная после долгих дней духоты. Впрочем, Алик её даже не заметил. Накануне они сохранились перед самым въездом на пристань. По всему выходило, что их ждала схватка с боссом игры, после которой они смогут попасть на судно. Алик встал с тахты, подошёл к скрючившемуся в кресле, постанывающему во сне Дюше и потряс друга за плечо. Дюша открыл глаза, обвёл комнату мутными глазами, встал и нетвёрдым шагом направился к приставке. Битва с боссом, омерзительным антропоморфным мутантом, покрытым наростами и разбрызгивавшим во все стороны ошметки плоти, заняла более двух часов. Никогда ранее

ни Алик, ни Дюша, в своё время завсег`датаи игровых клубов, не сталкивались со столь сильным противником. Монстр, игнорируя выстрелы из дробовика и шквальный огонь винтовки, раз за разом повергал героев на землю. Наконец, друзья методом проб и ошибок выработали правильную стратегию. Пока Алик отвлекал босса, бегая по причалу и периодически стреляя, Дюша забрался на крышу дома начальника порта, взял там возле трупа спецназовца базуку и всадил снаряд в спину монстра. Босс разлетелся в фейерверке джибзов, и одуревшие от схватки братья по оружию увидели своих героев садящимися на борт судна. Корабль отчалил, оставляя за собой умирающий город, и по экрану побежали имена разработчиков. Алик встал, прошёл в кухню, вернулся с бутылкой, к которой так и не притронулся с того памятного дня, и разлил жидкость по стаканам. Друзья чокнулись и опрокинули в себя водку. Где-то на побережье раздался взрыв, и стёкла задрожали в оконных рамах. Совет Десяти, не дождавшись выполнения условий ультиматума, отдал приказ о начале бомбардировки. Алик устало посмотрел на Дюшу, тот пожал плечами и потянулся за бутылкой.

РАЗОБЩЁННОСТЬ

Во сне он видел себя посреди оживлённой площади с фонтанами и зелёными прямоугольниками газонов. Стоял погожий, по-видимому, летний день, и солнце в безоблачном небе щедро дарило миру свой свет. Мимо него прошла молодая женщина в коротком зелёном платье, не скрывавшем её округлых форм. К груди она прижимала маленького ребёнка. Охваченный приступом желания, он приблизился к ней и, с присущей сновидениям бесцеремонностью, предложил уединиться в каком-нибудь укромном месте. Возмущённая женщина развернулась и стала удаляться быстрым шагом. Он следовал за ней до автобусной остановки, где они погрузились в ярко-жёлтое маршрутное такси. В салоне он занял место рядом с женщиной (ребёнок к тому времени успел куда-то исчезнуть) и вновь приступил к домогательствам. Чувствовалось, что осада не затянется надолго, и крепость

вот-вот падёт. Затем последовал пространственный провал, а в следующий момент он оказался уже в номере отеля, причём на месте незнакомой женщины была его жена. Ничуть этим не удивлённый, он продолжал о чём-то с ней беседовать, расхаживая по паркету в одних носках. Жена сидела на диване, вокруг которого стояли дорожные сумки. Создавалось впечатление, что они только что въехали в это место и ещё не успели разобрать вещи. Ему запомнился деревянный столик на колёсах с несколькими бутылками вина на нём. Они разговаривали и смеялись, им вторил телевизор на тумбочке в углу номера. Внезапно кадры безымянного сериала на экране сменила таблица настройки, и зазвучало вступление к последней отрепетированной его группой песне. Они одновременно встрепенулись в радостном изумлении, однако несколькими секундами спустя выяснилось, что передавали оригинальную композицию, группа же исполняла кавер-версию. Тем не менее, он продолжал возбуждённо пританцовывать на месте, а потом вдруг подхватил жену с дивана, прижал к стене и стал покрывать поцелуями лицо и шею. Какое-то время она отвечала на ласки, а затем неожиданно отвела его руки. «Прости, но мне так хочется есть, аж живот от голода сводит», – сказала она, глядя ему в глаза. Волна разочарования пополам с раздражением затопила его изнутри, а потом какая-то сила рывком вышвырнула сознание назад в реальность.

«Ну почему ты всегда так со мной!». Он был уверен, что выкрикнул эти слова, вырываясь из сна, однако в комнате стояла тишина. Она неподвижно лежала на спине и глубоко и ровно дышала. Он осторожно сел на кровати и, коснувшись лба, ощутил под пальцами капельки влаги. Губы сами собой искривились в усмешке. На самом деле, она никогда не отказывала ему в любви, разве что только если была больна или очень устала. Но к чему тогда эти сны? Он откинулся на подушку и прикрыл воспалённые глаза. Всё шло к тому, что остаток ночи ему предстояло провести без сна. Он никогда не пытался разбудить её в такие моменты, и ни разу не рассказывал о своих ночных приступах тоски и отчаяния, когда тело и душа одинаково сильно жаждут бегущего от них покоя. Не было смысла заставлять её волноваться, да и чем она могла бы ему помочь?

В тишине комнаты еле слышно тикали часы над их кроватью. Просыпаясь посреди ночи, он старался не смотреть на них. Так можно было убеждать себя, что до утра ещё долго, и времени вполне хватит на то, чтобы снова заснуть и успеть восстановить силы. Иногда этот трюк срабатывал. Бывало и так, что он почти уже погружался в дрему, из которой его вырывал звук движущегося по рельсам трамвая. Он знал, что трамваи начинали ходить в половине шестого утра. Это значило, что до звонка будильника оставалось менее полутора часов, и ни о каком сне уже не могло идти речи. Порой он даже завидовал крепости и безмятежности её сна. По утрам она почти всегда выглядела свежей и отдохнувшей, вполне готовой вновь погружаться в дневные заботы. Для него же недосыпание было настоящим бичом. После таких ночей он приходил на работу опустошённым, с трудом сдерживался от того, чтобы не нагрубить сотрудникам, с ощущением несправильности происходящего в себе и в окружающем мире. Однажды, ещё в студенческие годы, ему удалось изобрести собственный вариант методики «подсчёта овец». Ложась в кровать, он представлял, как некую девушку (обычно в этой роли выступала его бывшая школьная любовь) посадили на наркотики, в результате чего она оказалась в клинике и надолго выпала из жизни. Узнав об этом, его герой начал активно заниматься своей физической формой, а затем, предварительно тщательно проработав стратегию, уничтожал одного за другим всех виновных. Как правило, их было пятеро, все они принадлежали к разным слоям общества. Для устранения полунцищего маргинала-наркомана не приходилось прилагать больших усилий, а вот чтобы достать сынка одного из влиятельнейших людей города, требовались долгие недели подготовки. Он редко доходил в своих фантазиях до окончательного торжества справедливости, обычно засыпая где-то в середине истории. Позднее, под влиянием любимых им тогда компьютерных игр и фильмов о зомби, он обратился к другой тематике. Как-то в одном сборнике он прочитал рассказ об апокалиптической войне людей с живыми мертвецами. Автор не объяснял, что оживило миллионы гниющих трупов, одержимых неутолимим голодом,

впрочем, это не имело особого значения. Главной была атмосфера панического ужаса, лихорадочной спешки, в которой люди строили гигантскую стену. Она стала единственной надеждой на защиту от неумолимо приближавшихся полчищ зомби, шансом продержаться до появления военных. Медиков среди строителей практически не было, поэтому исчерпавшие свои силы просто ложились на землю и медленно умирали. В рассказе людям всё же удавалось в итоге спастись, однако он рисовал себе значительно более мрачную картину. Стену не успевали закончить до появления ходячих мертвецов, и главному герою его истории лишь чудом посчастливилось вырваться из кровавого кошмара. Вооружённый одним дробовиком, он долго скитался в поисках уцелевших, и, наконец, случайно наткнулся на покинутый жителями каменный дом на вершине холма. Полубезумный от усталости и холода, он проникал внутрь, падал на кровать, навалив на себя груды найденного внутри тряпья, и мгновенно проваливался в сон. Собственно, суть всей идеи заключалась именно в этой сцене. Он настолько проникался состоянием своего героя, что засыпал, искренне радуясь такой возможности. Иногда, поздней осенью или зимой, он приоткрывал окно в спальне. Холодный воздух наполнял помещение, и он закутывался в одеяло, наслаждаясь ощущением тепла и защищённости. После женитьбы он по-прежнему время от времени возвращался к картинам зомби-апокалипсиса, однако к манипуляциям с окном больше не прибегал. Ему даже в голову не приходило, как объяснить холод в спальне в середине января.

– Ты не спишь? – он настолько глубоко ушёл в воспоминания, что не сразу осознал происходящее. Приподнявшись на локте, она смотрела на него сквозь ночную тьму.

– Всё в порядке, приснилась какая-то ерунда, сейчас опять усну.

– За последние две недели это уже четвёртый раз.

– В каком смысле? – на мгновение ему показалось, что он снова вернулся в свой сон, настолько схожим было внезапно вспыхнувшее раздражение.

– Скажи, – она говорила тихо, словно боялась нарушить хрупкую магию тишины, – неужели ты думаешь, что я

не замечаю, что с тобой не всё в порядке? Ты полночи ворочаешься, вздыхаешь, ходишь на кухню пить воду, по утрам у тебя красные глаза, и при этом ты не говоришь мне ни слова. Может, всё-таки объяснишь, что происходит?

– Объяснить? Ладно. Говорю кратко, как ты любишь. Мне не нравится этот мир и не нравится, как я в нём живу.

Он замер. Злость, с которой прозвучали последние слова, удивила даже его самого. Несколько секунд она молчала.

– Хорошо, мир несовершенен, мы с тобой тысячу раз это обсуждали. Но послушай, за стенкой не спит больной человек, который может часами кричать, не давая заснуть, у тебя нет камней в почках и непогашенных долгов. Только пожалуйста, не говори сейчас, что отсутствие серьёзных проблем не повод для того, чтобы хотя бы иногда расслабляться.

– Не буду, – его язык нащупал воображаемую дырку в верхней «семёрке» справа и стал активно её исследовать. Приблизительно эти самые слова он обычно говорил в подобных ситуациях.

– Знаешь, неудовлетворённость – это здорово, – она взяла свою подушку, прислонила к спинке кровати и опёрлась на неё спиной. Она не даёт тебе застаиваться, позволяет открывать новое, наверное, это одна из тех вещей, за которые я тебя любила. Но попробуй хоть иногда не мыслить глобально. Дай себе отдых, перестань размышлять, насколько много сделал, достоин ли следуешь своему предназначению, заслужил ли место в вечности. Найди кайф в повседневности. Ты говоришь, какими скучными бывают твои сотрудники, а вспомни, как мы подышали от смеха в прошлый четверг.

Лёжа в темноте, он не мог сдержать улыбку. Несколько дней назад ему принесли на корректуру статью об истории морских путешествий. Её автор, журналист в их агентстве, явно вдохновлялся творчеством романтиков. Количество цветистых эпитетов и метафор в его труде зашкаливало, особый же восторг вызвало словосочетание «злые штормы», в котором при наборе была пропущена буква «м». Ему незамедлительно пришёл в голову образ Карлсона, задрапированного в бархатную занавесь почему-то винного цвета, преследующего убегающих по крышам воров. Она в свою очередь предложила

сделать Злые Шторы правителем демонов, осаждавших советских пионеров, таких как Красная Рука, Чёрная Простыня и Зелёные Пальцы. В тот вечер они заказали две внушительных пиццы и запили их изрядным количеством вина по случаю хорошего настроения и приближающихся выходных.

– Да, но я провожу там кучу времени, – по инерции он продолжал улыбаться, – а как же самореализация?

– А что ты понимаешь под самореализацией? Ты сам постоянно говоришь мне, что никогда не хотел быть профессиональным писателем, что у тебя недостаточно таланта, что творец не должен зависеть от ожиданий и потребностей публики. Чудесно, искусство ради искусства, так пиши, пиши о чём угодно, хоть об этом нашем разговоре. Пиши для себя. Не думай, кто сможет оценить твои идеи. Если на то пошло, это нужно мне. Я люблю наблюдать, как ты вначале нарежешь круги по квартире, морщишь лоб, думаешь о чём-то, а потом открываешь футляр и начинаешь протирать тряпочкой бас. Ты делаешь то, что тебе нравится. Ты бегаешь на репетиции, платишь за них деньги, возвращаешься недовольный раз, другой, третий, а потом вдруг приходишь и говоришь: «Слушай, кажется, сложилось». Я радуюсь за тебя в такие моменты. Потом вы играете концерт, пьёте, поёте на улице песни и вспоминаете старые времена. На следующий день у тебя похмелье, и так не хочется приводить себя в порядок и идти на работу. Но ведь всё это твоя жизнь, наша жизнь. Думаешь, мне всегда доставляет удовольствие рисовать картинки к статьям, которые ты корректируешь? Может, я всегда мечтала стать Эдвардом Мунком в юбке. Правда, юбку я одеваю раз в год...

Она замолчала. Он слушал её дыхание и ждал.

– Скажи, а почему ты со мной?

– Я не могу, не хочу думать, что только потому, что боюсь не выдержать ещё одного потрясения, если ты от меня уйдёшь, – он торопился, как мальчишка, спешащий поразить окружающих только что выученной скороговоркой, как торопится сказать правду знающий, что ему никто не поверит. – Я просто не представляю, как смогу жить без тебя. Нет, вру, представляю, но зачем?

В тишине комнаты еле слышно тикали настенные часы. Она приподнялась, положила подушку в изголовье кровати и опустила на неё голову.

– Разве мы с тобой плохо живём? И ты, и я, мы имеем свой кусок одиночества, когда нам это нужно. Я рисую банановых монстров, а ты играешь в своих «Пчёл против зомби». Потом мы ложимся спать, утром завтракаем, идём на работу, в перерыве едим сэндвичи и смотрим картинки, которые скидывают нам друзья в интернете. И вдруг что-то случается и заставляет нас рассказывать друг другу кучу всего разного, смеяться, пить вино и строить планы. Разве не в этом заключается то прекрасное, о чём мы так любим потом вспоминать?

Её голос постепенно растворялся в тишине, нарушаемой лишь тиканьем настенных часов над их кроватью. Ему неожиданно вспомнилась «Разобщённость», картина безумного норвежского художника Мунка, страдальца и одиночки, который так ей нравился. На полотне кривыми шизофреническими линиями были изображены две фигуры: она в белом платье в профиль и он, одетый в чёрное, с закрытыми глазами, прижимающий окровавленную руку к сердцу. Он подумал о разобщённости, которую носит в себе каждый из нас, и о лекарстве от неё, лежащем там же. И всё это вместе с многими радостями и горестями мира и составляло то, что люди называют жизнью. Он наклонился, нежно поцеловал её в оголившееся плечо и прикрыл его одеялом. Потом спустил с кровати ноги, поднялся и босиком зашагал к окну.

ДО СЛЕДУЮЩЕГО РАЗА

Никто из нас не желает общества, компании себе подобных или тех, приходящих с другой стороны. Всё, что нам нужно, это проводить вечность в полутьме прохладных гротов, слушая стук разбивающихся о камень капель, ловя вибрации вселенной. Никогда не видел своих сородичей, я знаю, что они существуют, блаженствующие в окружённых океанами раскалённого песка оазисах. У нас нет целей и стремлений, мы просто есть, частицы мироздания, умиротворённо занимающие свои ячейки в великой мозаике. С закатом, когда

тьма поглощает пылающее солнце, я покидаю грот и долго плаваю в прохладных водах озера, то погружаясь на самое дно, то зависая над водной гладью. Натешившись, я возвращаюсь к гроту и карабкаюсь по каменным уступам на самую вершину. Потрясенная вода успокаивается, на тёмной поверхности одна за другой вспыхивают звёзды, и ни в одном из миров нет картины прекраснее этой. Потом небо начинает светлеть, я спускаюсь, укладываюсь на пол и вновь замираю под музыку капель.

Но порой что-то тревожит мой покой, оцепенение спадает, и я слышу зов. Я не знаю, зачем они являются сюда, существа с той стороны, обременённые противоречивыми желаниями. Задавать вопросы не в моей природе, мне достаточно осознания того, что таков порядок вещей. Повинуясь зову, я принимаю желаемые ими формы. Это доставляет неудобства, трансформируясь, я перестаю ощущать вибрации. Впрочем, во временном изменении оболочки есть и своя прелесть. В такие моменты я становлюсь чуть ближе этим странным существам и на мгновения могу даже почувствовать то, что переживают они. Им нужны эти формы, как и мне нужно по ночам погружаться в воды озера. Существа что-то делают с ними, называя это «заниматься искусством» и «творить». «Творить» для них означает радость, с которой сплетается и другое состояние, «неудовлетворённость». Иногда мне удаётся поймать послания с той стороны. «Выбери, наконец, семья или музыка», – звучат они, – «Хочешь писать – пиши, но зачем так пить?» – или: «Сколько же можно, зачем я всем этим занимаюсь?». За звуками есть какой-то смысл, но для меня они не значат ничего.

Когда трансформация заканчивается, «неудовлетворённость» тускнеет, и существа покидают грот. Я вытягиваюсь на камнях, нащупываю вибрирующую волну и погружаюсь в покой до следующего раза.

ВИКТОРИЯ КОЛГУНОВА

Одесса

СВОБОДУ РАДИКАЛАМ!

рассказ

– Радикалы умрут все. Они будут съедены, – радостно провозгласила полная женщина с указкой в руках, стоя около доски с развешанными на ней наглядными пособиями.

Аудитория внимала, затаив дыхание. В зале сидели пожилые женщины, с морщинистыми лицами, пожилые мужчины с руками, покрытыми старческими пятнами. В их глазах металось нетерпение и ожидание счастья.

Клара и Роза искали работу уже три месяца, с тех пор как закрылось предприятие, на котором подруги работали со дня его основания. Ничего интересного не попадалось, разве что секретарша при большом боссе, но секретарша нужна была одна, а им хотелось и дальше работать вместе, поскольку они снимали в столице одну квартиру на двоих, да и во всех остальных смыслах это было удобно. Можно подменить одна другую в случае чего.

Встали на учёт в службу занятости, отнесли туда кучу разных справок, ходили отмечаться. Пока на пособие ещё можно было тянуть, ещё одежда сохраняла свой новый вид, на балконе хранился мешок картошки, а в холодильнике десять банок консервированного мяса, купленного по акции.

Однажды Роза увидела на столбе синенькую бумажку, на которой было написано: «Приглашаются сотрудницы для работы в офисе. Требования: возраст до 30 лет, презентабельная внешность, грамотная речь, умение убеждать, образование высшее гуманитарное». И далее номер телефона.

Сотрудницы, а не сотрудница. Следовательно, был шанс устроиться на работу вдвоём и, как прежде, помогать друг другу. Девушки решили позвонить и попытаться счастья. Приятный женский голос расспросил об их внешних данных, образовании, поинтересовался, насколько хороши были успехи в школе по биологии. У обеих по биологии пятёрки.

Окончили факультет природоведения университета, где когда-то и познакомились. Голос пригласил их на собеседование в пятнадцать часов на завтра в Большую аудиторию Медицинского института.

Ровно в пятнадцать часов Клара и Роза переступили порог Большой аудитории.

У доски с указкой в руках стояла полная, высокая женщина, видимо та, что приглашала их на собеседование. На скамьях, расположенных полукругом, разместились слушатели. Но это были не студенты. В зале сидели пожилые женщины с морщинистыми лицами, пожилые мужчины с руками, покрытыми старческими пятнами. Отвисшие веки, опустившиеся щеки, глубокие носогубные складки. Всякая старость почётна, но здесь собралось слишком много неэстетичных лиц, подумали подруги.

Лектор кивнула им и продолжила рассказ.

– Итак, мы говорили о том, что живые клетки, отслужив свой, отпущенный им век, разрушаются и превращаются в ненужный в организме хлам, мусор, источники свободных, оторвавшихся электронов, называемых свободными радикалами. Отжившие клетки образуют шлаковые залежи, источают токсины, а блуждающие в организме свободные радикалы повреждают здоровые клетки организма, что приводит к старости. Мы нашли способ бороться со свободными радикалами, смоделировав новый вид живой бактерии, питающейся этим биологическим мусором, очищая тем самым человеческий организм в течение трёх-четырёх месяцев, максимум года. Как результат, человек явно и резко омолаживается, разглаживается кожа, возвращается резкость зрения и слуха, повышается потенция, седые волосы вновь темнеют и вырастают новые. Человек получает возможность начать жизнь сначала и реализовать те планы, которые не успел воплотить в действительность ранее. Насколько увеличится при этом жизнь человека, мы ещё сказать не можем, это станет ясно, когда пройдёт хотя бы ещё лет десять. Но совершенно ясно, что она увеличится безусловно, поскольку параметры жизненных показателей пациентов, принимавших БЖЗ – бактерию «Жизнь Заново», соответствуют внутренним параметрам человеческих организмов на тридцать лет моложе.

Лектор обвела аудиторию торжествующим взглядом.

Из заднего ряда поднялся человек в футболке с короткими рукавами. Клара и Роза с удивлением заметили, что старику этому было на вид лет восемьдесят, но одна из его рук соответствовала возрасту, а вторая была абсолютно молодая, словно бы от другого тела, сильная, мускулистая, с натянутой светлой кожей.

– Я слушаю вас, профессор Берд, – произнесла с почтением лектор.

– Прошу прощения, уважаемая, – сказал старик. – Но я всё-таки не понимаю. Для очищения организма от шлака отживших клеток есть живые крупные клетки – макрофаги. Естественные детали живого организма, поглощающие биомусор, это совершенно нормальное устройство, оно работает уже тысячи лет и очищает тела человека и животных. Если бы не предусмотренный природой процесс очищения макрофагами крови от остатков умерших клеток, убитых лейкоцитами микробов и бактерий, в организме происходил бы просто интоксикационный шок, и он бы погибал намного раньше. Я как профессиональный биолог категорически против изменения естественного течения процессов жизни искусственно сконструированными бактериями, которые борются с поглотителями других бактерий, тем более что роль свободных радикалов тоже не до конца изучена, и возможно, что именно свободные радикалы являются...

– Садитесь, господин Берд, – с раздражением ответила лектор. – Вы же сами в виде эксперимента согласились принимать капсулы ЖЗ и видите результат. Одна рука у вас уже достигла совершенства, она молода, как в 20 лет. Почему организм молодеет по частям, а не весь сразу, мы пока ещё не можем понять. Но, в конце концов, он молодеет полностью, сначала руки, по одной, начиная с левой, потом ноги, потом тело, а затем лицо, начиная с левой половины. И достигает возраста в 20 лет, в котором останавливается. Наука идёт вперёд, и то, что вчера было нормой, сегодня является отклонением, а то, что было отклонением вчера, сегодня становится нормой! Это прогресс, который вам не остановить. И не вздумайте мешать нам, строчить какие-то статейки в «Ланцет»

и другие ретроградные журналы. Вы добровольно согласились участвовать в эксперименте и будьте последовательны до конца, даже если эксперимент вызывает у вас сомнения.

Старик, нахмурившись, сел на место, продолжая что-то ворчать. Клара и Роза, поражённые услышанным, стали внимательно рассматривать людей, сидевших в аудитории, и отметили, что у многих были молодыми либо руки, либо половина лица, либо то и другое вместе, а иногда весь человек казался молодым по лицу и осанке, а его старческого вида одежда резко контрастировала с его обликом. Но все они выражали явную заинтересованность и радость.

После лекции девушек позвали в небольшой кабинет, где руководительница расспросила их сначала, насколько они поняли суть нового изобретения. Приблизительно поняли. Хорошо. В чём будет состоять их работа: они получают методичку с записью лекции и своих действий, и будут собирать людей в аудиторию, чтобы рассказывать о новом препарате, а также рекламировать его и предлагать вступить в эксперимент. Нужно убедить людей не только в том, что они помолодеют и начнут жизнь сначала, но и в том, что они принесут пользу науке и славу своей стране. Хотя, улыбнулась руководительница, кто ж откажется помолодеть. Но самое привлекательное, по словам руководительницы, заключалось в том, что капсулы с бактериями ЖЗ не отдаются даром, а продаются, естественно за деньги, ведь это товар, и на его производство уходят финансовые средства.

Итак, каждая баночка препарата содержит три капсулы, а всего их на полное омоложение требуется принять три баночки в течение трёх месяцев. По одной в месяц. Одна баночка стоит сто евро. Из них Роза и Клара за привлечение клиентов и чтение лекций для них, получают по двадцать процентов, то есть по двадцать евро за проданную банку, а за курс – шестьдесят. Всё зависит от количества привлечённых клиентов и проданных баночек с препаратом. В месяц можно заработать до полутора тысяч евро.

У подруг был шок. Такие деньги! Они и мечтать не смели о таком заработке. Он им просто в голову не приходил. Вот оно счастье, вот везенье! Только бы взяли, не придрались бы к чему.

– Наш девиз: «То, что вчера было нормой, сегодня является отклонением, а то, что было отклонением вчера, сегодня становится нормой!». Понимаете, девушки? Мы опровергаем все старые отжившие каноны и понятия. Старости нет вообще, невозможного нет ничего, наши мужчины зачинают детей в возрасте девяноста лет, наши женщины, прошедшие полный курс омоложения, поднимают вес в двадцать пять килограмм одной рукой. Нет разницы между мужчиной и женщиной, все одинаково сильны, все могут выполнять самую тяжёлую работу.

Руководительница была сама увлечена своей речью, её глаза блестели. Клара от удивления приоткрыла рот, Роза в уме уже видела себя поднимающей двадцать пять килограмм одной рукой, никогда не стареющей, окруженной кучей ребятишек и внуков в собственном огромном красивом доме и притом выглядящей не старше их. В груди её ширился тёплый ком предчувствия счастья.

– Но неужели это всё происходит только потому, что мы запускаем в организм бактерию, уничтожающую свободные радикалы? Пусть отсутствие свободных радикалов способствует замедлению старения, это понятно, но что может привести к такому сверх результату? Здесь, наверное, вступает в силу ещё какой-то фактор, кроме названного? – воскликнула Клара.

– Да, этот вопрос изучается. Надо признать, что мы ещё не до конца понимаем механизм происходящего. Как и то, почему организм молодеет частями. Но результат-то налицо, и результат потрясающий.

– Всё-таки природой предусмотрено старение и смерть, для чего-то природа запускает в живой организм этих санитаров леса – свободные радикалы, повреждающие и, в конце концов, уничтожающие здоровые клетки, с целью привести организм к смерти, – не унималась Клара.

– Наш девиз – «То, что вчера было нормой, сегодня является отклонением, а то, что было отклонением вчера, сегодня становится нормой!», вы забыли? Нет господству свободных радикалов, все клетки в организме должны быть равны в своих правах, все имеют право на жизнь без конца, это

недопустимо, что какой-то один элемент организма решает судьбу другого!

– Но ведь, запуская бактерию, уничтожающую радикалы, мы поступаем точно так же, только, наоборот, в обратном порядке, – снова воскликнула Клара. Теперь уже этот новый элемент господствует и уничтожает старый, что изменилось, какая разница?

– Таков мировой порядок, в жизнь приходят новые нормы сожительства, всё меняется. Что вас не устраивает? Вы можете не работать здесь. На такую зарплату мы сотрудиц найдём.

Роза уже давно дёргала подругу за рукав и шипела ей в ухо: «Перестань, ты с ума сошла!». Клара пришла в себя. Действительно, что она завелась, глупая, что ли, упустить такой шанс!

В конце концов, всё утряслось, Клара извинилась за свою несдержанность и эмоциональность, девушки достали паспорта, написали заявления о приёме на работу, получили визу в верхнем уголке заявления и могли уже отправляться в отдел кадров НИИ медицины и трансплантологии. Но руководительница задержала их на минуту.

– Имейте в виду, к вам может заявиться профессор Берд. Старик сошёл с ума. Ретроград! Мы позвали его в эксперимент для того, чтобы он своим научным авторитетом подтвердил наши изыскания. Он добровольно согласился участвовать, принял курс БЖЗ и стал омолаживаться. Но вдруг начал резко возражать против эксперимента, у него, видите ли, проснулась научная интуиция! Кому нужна интуиция, если есть великолепная практика, доказывающая обратное? Вы же видели сегодня его левую руку? Он выступает против усыновления детей однополый парой, вообще выступает против однополых браков, он застрял в прошлом веке. Он возражает против нашего девиза «То, что вчера было нормой, сегодня является отклонением, а то, что было отклонением вчера, сегодня становится нормой!», поскольку считает, что в мироздании понятия нормы и отклонения должны быть незыблемы. Если он явится, не слушайте его, и вообще лучше не контактируйте никак. От этого старика один вред. А я дам охраннику распоряжение не пускать его больше в НИИ.

Девушки согласно кивнули и разом отправились в отдел кадров. А оттуда в кафе праздновать начало новой жизни, пусть хоть на оставшиеся у них копейки, но что их жалеть и экономить, когда впереди зажиточная счастливая жизнь, притом почти бесконечная, поскольку когда-нибудь им предстояло принять чудодейственные капсулы тоже.

Четыре месяца Клара и Роза читали ежедневные лекции в двух разных аудиториях, каждая в своей, клиентов они набирали по размещаемым в интернете объявлениям, среди знакомых, те приводили своих знакомых, и баночки с чудодейственными капсулами разлетались как горячие пирожки. Первые большие деньги вызвали эйфорию, но вскоре они привыкли к хорошей еде, дорогой одежде, поездкам в любой конец города на такси.

Наконец встал вопрос о покупке своей квартиры, прежняя съёмная показалась им бедной, хозяйка придирчивой, а пробежавший ночью по кухне таракан привёл их в ужас, хотя ранее такие эксцессы уже случались и ужаса не вызывали.

Подруги ознакомились с объявлениями о продаже квартир. Осмотрели несколько. Не понравились. И тут Клара высказала идею, которая вызвала у Розы восторг. А что если им купить не две однокомнатных квартиры, а один дом на двоих? С садом и беседкой во дворе, где они будут принимать гостей. Может и личная жизнь наладится, под тридцать уже, а они всё ещё потенциальные невесты. У Розы был роман, но окончился неудачно, у Клары до серьёзных романов даже не доходило. В доме должно быть не менее пяти комнат, по две на каждую, и одна общая, типа гостиной. Два санузла, конечно, две кухни. То есть, им нужен солидный дом, такой, какой внезапно увидела Роза в своих мечтах, когда они ещё проходили собеседование.

Стали искать дом. Вариант купить участок земли и строиться, предложенный одной строительной компанией, девушки отвергли сходу. Долго ждать, и так уже, сколько лет ждут нормальной жизни, и что они понимают в строительстве, их непременно надуют. И тут возник он! В объявлении соцсети, вдруг, как джинн из сказки, красивый, из светлого

камня, в пригороде, но автобусная остановка совсем рядом, и там же продуктовый магазин и вполне приличное кафе. Шесть комнат, одна с камином, два санузла, почти всё как они мечтали, правда, одна кухня, но можно из маленькой боковой комнаты сделать вторую кухню, и даже, подумать только, два входа! Словно кто-то задумал этот дом специально для них.

Только вот цена... Цена была большой. Невозможной для них на данный момент. Они несколько раз ездили осматривать, вздыхали, морочили голову риелтору, что вот-вот возьмут где-то деньги, но понимали, что взять их негде, и они просто оттягивают тот момент, когда придётся отказаться от своей мечты.

Риелтор оказалась женщиной опытной. После третьего осмотра она поняла, что богатый дядюшка, который скоро приедет из-за границы, не приедет никогда. И предложила подругам взять кредит в банке, и даже пообещала способствовать хорошему проценту, так как их агентство недвижимости работает с определённым банком, где берут кредиты их клиенты. Это был выход из положения, лучше ничего придумать было нельзя.

Риелтор сходила с ними в банк, где они предъявили нужные документы, в том числе справку из НИИ о зарплате, справку об отсутствии судимости по экономическим преступлениям, справку об отсутствии родственников за границей, куда они могли бы сбежать, не выплатив долг, справку от врача о замечательном здоровье, отдельно справку от нарколога. Все эти бумаги обе девушки подавали каждая за себя, так как кредит брался на имя Розы, Клара выступала её поручителем, на случай, если с Розой что-то случится, а залоговым имуществом назначался покупаемый дом. Риелтор помогла им с процентом, действительно на полпроцента ниже, чем в рекламном проспекте этого банка.

Через две недели тревог, волнений и страхов Клара и Роза въехали в свой собственный дом, что наполнило их души неизъяснимым трепетом восторга сбывшейся мечты и предчувствием будущих изменений в личном статусе.

На работе всё было отлично. Девушки получали огромное удовольствие от того, как внимала им аудитория, как горели глаза стариков, когда они получали в руки заветные три баночки с будущей молодостью, а взамен передавали серовато-зелёные купюры, которые стоили, конечно же, гораздо меньше, чем возвращённая старикам жизнь.

Несмотря на ежемесячные выплаты банку, которые значительно понизили обычный бюджет подруг, жили они всё-таки намного лучше, чем до того счастливого дня, когда Роза сорвала со столба криво наклеенную синенькую бумажку с объявлением «требуется сотрудницы».

Иногда к ним с телефонными звонками пытался пробиться профессор Берд, но они, выполняя своё обещание, данное в тот день, когда их принимали на работу, отбивали входящие звонки, не отвечая назойливому старику.

Так пролетело пять лет, наполненных ежедневным трудом, приносящим радость, встречами с клиентами, демонстрировавшими свои достижения в виде молодых рук и ног, а потом лица, теми, кто ещё не приступил к лечению, чтение лекций, контроль рекламы в соцсетях, подсчёт баночек, поездки на склад, строгий учёт продукции и денег (их предупредили о ежеквартальном аудите), получение зарплаты, поход в банк для уплаты процентов по кредиту. Дел было столько, что девушки просто не имели времени на личную жизнь, но уговаривали себя, что вот выплатят кредит, получают в собственность свой дом, и тогда можно будет снизить темп жизни, количество продаж и, наконец, заняться собой.

Те клиенты, вернее, пациенты, как больше нравилось называть их Кларе, потому что так она чувствовала себя ближе к медицине, которые проходили полный курс и полностью меняли свой организм и внешность, старались больше не появляться в НИИ, для того, чтобы окружающие не знали, что их новая жизнь получена в результате какой-то бактерии или бациллы, в общем, какой-то искусственной операции с их телом. Многие стеснялись этого и если их жены или мужья не желали принимать капсулы, считая их сомнительными, то дело доходило и до развода. Омоложенные считали,

что не могут находиться далее в браке со старыми половинками, проявляющими такую ригидность мышления, такую тупость и позорящие своим видом молодых супругов. Некоторые омоложенные пары просто уезжали в другой город или даже страну и начинали жизнь сначала.

Однажды Роза, возвращаясь из магазина с сумкой продуктов, заметила на остановке автобуса стройного молодого человека в хорошей одежде, явно что-то выжидающего. Она удивилась, это был богатый пригород, и его обитатели в основном ездили на своих джипах. Автобусом обычно пользовалась приезжающая на день прислуга, да ещё и Клара с Розой, пока не раскрутились и не купили себе своё авто.

Молодой человек заметил Розу и подошёл к ней.

– Вы здесь живёте, не правда ли? – спросил он. – Я несколько раз уже видел вас на этой остановке. Вы уезжаете с неё всегда в одно и то же время.

У Розы ёкнуло в груди. Неужели? Такой красавец, интеллигентный, сразу видно. Значит, ждал её? А вдруг подумает, что она из прислуги, ведь ездит автобусом. Но он её ждал, значит, ему всё равно. Она просто понравилась ему внешне. Да, с тех пор, как они с Кларой стали жить хорошо, обе регулярно посещают салоны красоты, одеваются в дорогих магазинах. Сколько ему лет? Кто по профессии?

– Может, окажете мне любезность позавтракать со мной вон в том кафе? – молодой человек сделал следующий, положенный в таких случаях шаг.

Надо было бы отнести домой сумку, Клара обещала сегодня взять всю готовку на себя, и на работу пора, но нельзя же упустить такой шанс. Можно дать ему свой телефон, но вдруг не позвонит? Нет, надо идти в кафе, работа не волк...

И Клара тоже.

Роза кивнула головой. Молодой человек легко подхватил её сумку, сказав: «Вы позволите?». Она позволила, сумка была тяжёлой.

В кафе он протянул ей меню, она решила заказать что-нибудь недорогое, чтобы не показаться избалованной, себе он взял только кофе. Потекла приятная беседа, в основном

он расспрашивал Розу о её жизни и работе, и она подумала, что парень сразу хочет понять, чем она дышит, чтобы не связываться с неподходящей ему по статусу девушкой, не тратить на неё время. Такой подход ей понравился. Спросила его имя, он назвался Эдвардом.

Роза охотно рассказывала ему о своей работе. Пусть знает, что она обеспечена, самостоятельна, больше будет её уважать. Странно даже встретить в наше время такого образованного, воспитанного, в каких-то моментах даже слишком воспитанного человека, отодвинул перед ней стул, подал влажные салфетки для рук, речь изысканная. Кажется, ей круто повезло в жизни.

Эдвард внезапно подался вперёд и положил свою руку на её запястье.

– Я Эдвард Берд, вы конечно не могли узнать меня, вы видели меня в лаборатории, когда пришли наниматься на работу в НИИ медицины и трансплантологии, помните, я пытался объяснить с руководителем проекта, но она не дала мне это сделать. Но я тогда был слишком стар, чтобы вы обратили на меня внимание.

Роза была ошеломлена. Так значит это омолодившийся профессор Берд, чьи телефонные звонки, она регулярно отбивала по приказу начальства. Вот откуда изысканные манеры и такие же обороты речи. Он нашёл её, искал и нашёл. Значит, она понравилась ему тогда уже, с первого взгляда. Но зачем он ей, такой старый? Какой старый, ему по параметрам сейчас двадцать лет, в самом соку, а профессорские знания никуда не делись. Даже в самых ярких мечтах она не могла себе представить такое везенье. Вдвоём они горы свернут, втроём с Кларой, конечно, она её подруга, и Роза не выкинет её из проекта. Втроём они разработают ещё более грандиозный проект, осчастливят человечество, получат Нобелевскую, станут миллионерами все трое, какое счастье!

Эдвард помолчал немного, и нежно взял руку Розы в свою.

– Роза, я должен вам сказать кое-что. Я не могу это сказать никому другому в проекте БЖЗ, меня не станут слушать, и скорее всего, просто уберут. Но вам я верю, вы словно нежный цветок, настоящая роза. Послушайте меня, это

очень серьёзно. Вы знаете, что некоторые омоложенные супруги, чтобы не вызывать недоумение своим видом здесь и скрыть омоложение, уезжали за рубеж. Многие осели на Канарах в Испании. И оттуда пошёл процесс. Мы узнали здесь об этом не сразу. Оказалось, что человек молодеет в течение года, останавливается на уровне двадцати лет, держится так в течение ещё пяти лет, а потом начинается резкое дряхление и мучительная, страшная смерть. Так будет и со мной вскоре.

На Розу обрушилась стена. Ничего нет! Нет Эдварда, которого она уже в мыслях считала своим будущим мужем, нет проекта БЖЗ, нет нобелевки и миллионов, ничего нет, и даже её собственного будущего омоложения тоже не будет. Она состарится как и все, в какой-нибудь маленькой должности, всё кончено, конец всему... всем мечтам.

Эдвард ждал, пока она придёт в себя.

– Но почему, – хрипло спросила Роза, – почему так происходит, всё ж было рассчитано правильно?

– Нет, Роза, неправильно. Начиная с девиза «То, что вчера было нормой, сегодня является отклонением, а то, что было отклонением вчера, сегодня становится нормой!». Норма и отклонение предусмотрены природой и отмене не подлежат. Нельзя поменять их местами, перевернуть с ног на голову. Свободные радикалы, приводящие к старению, «санитары леса», поддерживают дисциплину и заведённый раз и навсегда порядок в организме. Натравив на них бактерию ЖЗ, мы убили санитаров и допустили бесконтрольное размножение бактерии ЖЗ, которое остановить уже не в состоянии.

– Но смерть в мучениях... почему в мучениях, а не просто от старости? Если человек внезапно дряхлеет, он должен просто умереть от старости. Причём тут мучения, – едва не плакала Роза.

– Потому что бактерия ЖЗ, размножение и бурный натиск которой мы не в состоянии остановить, в конечном счете, достигает такого количества, что питания в виде естественно отмерших клеток и свободных радикалов ей становится недостаточно, и она начинает пожирать вполне здоровые, даже молодые клетки, даже стволовые клетки, из которых должны рождаться молодые, пожирает макрофагов, своих союзников,

она жрёт человека изнутри, по кускам. Идёт настоящий погром, разбой, бессмысленный, беспощадный и неостановимый. Все органы, все ткани подвергаются нападению, рвутся на части, поедаемые хищниками. Обезболивающие помогают ненадолго, от внутренностей остается труха, мозг ещё какое-то время понимает человеческую речь, но вскоре отключается, и это уже благо, конец приносит облегчение. Мне это только предстоит.

Роза сидела молча, поникшая, по её лицу катились слёзы. Эдвард погладил её по голове.

– Роза, больше никому не продавай капсулы ЖЗ, ты сказала, что тебе на счёт уже поступили деньги за несколько комплектов препарата. Верни их покупателю и больше никому этот БАД не продавай. И тем, кто должен купить его у тебя за наличные, тоже. Не продавай никому. И передай это Кларе.

Эдвард помог ей донести сумку до дома и попрощался. Она ещё долго смотрела на удаляющуюся фигуру, стройную и полную сил, которой жить осталось так недолго.

Дома Роза молча отдала Кларе сумку и поплелась на автобус. Ей ничего не сказала, успеет ещё, а на проходной НИИ нужно отмечаться у охранника, она и так опоздала на полтора часа. У себя в кабинете занялась учётом, сколько продано за этот месяц, сколько получено переводов денег на банковский счёт в качестве оплаты будущих комплектов БАД. Видеть своих клиентов ей сегодня не хотелось, она решила провести рабочий день за подсчётами.

После работы поехала в парк и долго сидела на скамейке перед прудом, где плавали лебеди, достала из кармана остатки булочки, покормила птиц. Всё кончено, думала она. Они убийцы, они все убийцы, все, кто работал в проекте. Потому что не провели должным образом испытания препарата, погнались за прибылью... Им нет оправдания...

На следующий день у Розы была вечером запланирована встреча в кинотеатре с клиенткой. Она должна была отдать ей препарат, получить оплату за весь комплект, а потом пойти в зал, где показывали новый блокбастер с Арнольдом Шварценеггером в главной роли.

Весь день Роза провела на складе, подсчитывая количество банок с препаратом, вечером пошла в кино. Нет, она, конечно, не даст Линде комплект, не возьмёт у неё денег. Скажет, что кончилась продукция, а новую пока не завезли из лаборатории. И тем, кто перевёл деньги на банковский счёт в качестве предоплаты, тоже надо всё вернуть. Сколько их, она подсчитала, девять человек на счёт, плюс Линда наличными. Итого, десять комплектов, их придётся записать в минус.

На следующей неделе день платежа процентов в банк. Это последний платеж. После него дом станет своим, перейдёт в собственность Розы и Клары. Надо будет только заплатить этот последний платеж и подписать соответствующий документ о том, что кредит выплачен полностью и банк к ним претензий не имеет. Если этого не сделать, банк имеет право забрать дом. Даже если просрочить всего один этот последний платеж. Или вообще его не выплатить. Так написано в договоре. Девушки согласились на такой договор, потому что были уверены в своём завтрашнем дне. Но выплатить его можно, только если...

*нет, она не сделает этого...
потерять дом...
за него уже столько выплачено...
эти люди проживут ещё пять лет ...
а потом...
в мучениях?
нет, нет, нет...*

Ночью Роза не спала, ворочалась, ей было душно и тяжело. Ей самой решать, ведь кредит на ней. Придётся потерять дом, и это неизбежно. Да, вернуть дом банку, другого выхода нет. Господи, да ведь всего три дня назад всё было так хорошо, будущее светло и радужно, а сегодня тяжкие раздумья навалились на душу чёрной чугунной плитой. Где они теперь будут жить? И снова искать работу, снова оббивать пороги, проходить собеседования, заискивающе заглядывать в глаза работодателю...

Всё, всё сначала... с самого нуля...

Вечером Роза пришла в кинотеатр, толпа зрителей влилась в фойе, Линды не было, и Роза обрадовалась этому. Но тут из бокового входа вошла Линда, высокая сухопарая женщина с увядшим лицом, тусклой желтоватой кожей, и обречённо повисшим длинным носом. Некрасивая, старая. Улыбнулась, увидев Розу, подошла к ней. Роза вытащила из сумочки пакет с тремя баночками препарата, отдала ей, пересчитала данные Линдой деньги. Сунула деньги в кошелёк, затянула молнию на сумке.

И они пошли в зал, искать свои места, согласно купленным билетам, чтобы насладиться иллюзией экранной жизни, почувствовать героям, возненавидеть их врагов, восхититься благородством супермена, которого играл их любимый Шварц, а потом пойти домой, чтобы просто пить вкусный горячий чай с лимоном и круассанами.

СОСЕДИ ПО ПЛАНЕТЕ

БОРИС ФАБРИКАНТ
Борнмут, Англия

Вращается, вращается большая карусель.
И днём и ночью мается народ на колесе,
И крутятся, и вертятся, и музыка слышна,
И никому не верится, что кончится она.

И каждый помещается, коли найдётся грош.
И дождь не начинается, и кругозор хорош,
И кони ржут, и саночки скользят, как на парад,
И папочки и мамочки воротятся назад.

И все лошадки ходкие и мчат из-под руки,
На юбочки короткие слетают пиджаки.
Там берега кисельные и барахлит мотор,
А жизни карусельные летят во весь опор.

Держась за ручки ладненько в копыта не упасть,
Не выбирают всадника, а выбирают масть.
И снова ногу в стремя и довериться судьбе,
И в правильное время там да воздадут тебе.

Механик не сменяется, усталый и седой,
И всё ещё катаются за счастьем и бедой.
И колесо рулеткою вращает тишину,
Я в круг вошёл с монеткою за жизнью на кону

Словно зёрнышки, брошенные на траву,
Птицы спят, оставаясь в ней на плаву.
Вырастают с разгона лихою дугой
Перелётом из этого сна в другой.
Как цветок, обнимаясь с водою в земле,
Птицы воздух с собою несут на крыле
И, на вдох опираясь, со взмахом на чёт,
Птицы корни пускают, где ветер растёт.
Стая горстью ложится, подобно зерну,
В небеса, как в распахнутую целину

Когда зимы дрожащий календарь,
Поджав листочки, объявляет лето,
Ну, кто ему поверит, если встарь
Лишь сквозь весну к нам приходило это.

Уклад, разбитый знанием чужим,
По новой моде замешал привычки.
Как в деревенском клубе, мы кружим
И на крыльце обламываем спички.

А сколько неурядиц под дождём
Желанием спастись водою смыло!
И мы гадаем над календарём,
По месяцам сверяя то, что было

Всё известно физике и химии,
И кому-то, может быть, ещё,
Как ложится снег в такие линии
Меж дерев, где сбоку освещён.

Он привычен, вечен, как страдание,
И большой и белый, не седой,
Он из этой жизни за дыханием
Утекает талою водой.

Так и мы, здесь остаёмся памятью,
От рожденья бывшей нам душой.
И уходим ветром, цветом, замятью.
А за нами дождик небольшой

Там, в тени под землёй, вас закрывшей от солнца,
Под крестами по вере, любви и надежде,
Где прохладно, темно, не откроешь оконца
В заколоченной грубой сосновой одежде.

И ладья, в землю на воду спущена глухо,
Этой жизни маршрут не конечен, не вечен,
Порт свиданий никем и нигде не отмечен,
И сигнал незаметен, неведом для слуха.

Остаётся для нас знак незримого следа
И души и волны на пустом берегу,
Мысль и слово, неспешная наша беседа,
Встречный взмах издалёка рукой на бегу

Где в небесах распахнуты просветы
В премьерные спектакли в облаках,
Рабочие зимой приносят лето
И прочее на согнутых руках.

Ступают на заоблачную сцену,
Где снова силу чувствуют в себе,
И реквизиту тоже знают цену –
Мазку, изгибу, воздуху, судьбе.

Скольженье складок, звон блестящей нити
И шорох шва, задетого рукой,
Пружина сжатых, сбившихся событий.
Звонок. Начало. Занавес. Покой.

Внизу варили суп, бельё стирали,
Посуду мыли и скоблили таз.
От жизни ничего не ожидали,
На небеса не поднимали глаз.

А там в разгаре первая картина.
А кляли грязь и стылый мрак внизу,
Где мать ещё кормила грудью сына,
Скрывая занавескою грозу.

Вернулся муж с сантехником, со смехом
Вкрутили кран с горячею водой,
И долго в небо улетало эхо:
«Ещё раз по одной!»

И завершался день в округе местной,
Сходило солнце и текла вода.
Просторный мир, он безгранично тесный
Зал театральный, где аншлаг всегда.

Жизнь не вместит в себя единство места
И времени, берёт в расчёт слезу.
Комедия сравнивается до жеста
С трагедией высокою внизу

За тем поворотом, где тёмные липы,
Меняется время, погода и день.
Оттуда доносятся песни и всхлипы,
Туда расплзается тень.

И веришь, идут пионеры в походы.
И слышишь не слышишь, крадётся беда.
А хочешь не хочешь, теряются годы.
Но их не вернёшь никогда.

Дни, будто открытки, исписаны криво,
Верже, на картоне, на смятом листке.
И марка на них отразится красиво,
Как памятник с саблей в руке.

А в калейдоскопе с подзорной трубою
Где вся наша жизнь – вся от входа на выход.
В дорогу, в котомку ко вдохам, с собою
Дают дополнительный выдох

На переломе горизонта,
Там, где ребро, а дальше ниже,
Я линию любви и фронта
У моря на ладони вижу.

Несёт из давнего сырая,
На берег, выпавший из сна,
Строка, бегущая до края,
Неведомые письмамена,

Раскатывает, как папирус,
Ведя ладонями вразлёт,
Что есть, что было и на вырост
Напомнит, что произойдёт.

Летают галки как гадалки
На даму пик и дом казённый.
А я стою у края гальки
В тебя по-прежнему влюблённый.

И целый день пророчат чайки
И подбирают золотые –
В морщинках волн играют в салки
Рыбёшек косяки густые.

До вечности не больше мили
У океана в уголке.
Он приглядит, чтоб нас не смыли,
И не забросили в песке

Оставить хоть несколько строчек,
Как веточек с рифмами почек,
Дорожек лежащих в снегу,
Споткнувшихся на бегу
Вдоль берега синего неба
С горбушками белого хлеба –
И в том зашифрован пароль.
Коснутся, роняя ладони,
Как ветер в привычной погоне,
Ведущий полночный патруль,
И лопнет натянутый воздух,
Граница меж нами и тем,
Что видишь, как будто сквозь воду,
И вовсе не слышишь затем.
В бумажном меху промокашек
Расплаканных старых чернил,
Знобящее чувство мурашек
От строчек, что ты сочинил

шаткий прибор без плеска
осень граница лета
прозрачная занавеска
ночи перед рассветом

радужного приборя
шаг неслышный кошачий
ни собачьего воя
ни человеческого плача

вымокшие причалы
лодочный зал ожидания
берег тепло начало
детство воспоминанья

ломкие не удержишь
как ледяная кромка
целую жизнь платишь
и растряслась котомка

медленно тают льдинки
тихие всплески смеха
если позвать негромко
то прилетает эхо

медленно тают льдинки
в памяти посерединке
медленно тают льдинки
посерединке

Дни повторяются бессменно –
Как бесконечный хоровод.
Не по годам, а поимённо
Вся наша жизнь произойдёт.

И мы латаем пароходы,
Следим за фазами луны.
Стекают время и народы
С земной обратной стороны.

Шаг к смерти – чёрточки, зарубки,
Минут песочных перелёт.
А на бумаге оттиск хрупкий
Всю нашу жизнь переплетёт.

И полотно произношений,
И нить шершавых запятых
Прядут от давних поколений
До наших перемен пустых.

Когда земля планетой тленной
В опасный крен войдёт в судьбе,
Лишь эта нить во всей вселенной
Её удержит на себе

ЕЛЕНА ВАДЮХИНА

Москва

ВОЛШЕБНИЦА

сказка

Девочкам в шестилетнем возрасте обычно рассказывают детские сказки, а моя бабушка пересказывала мне содержание пьес Шекспира, Шиллера, Гёте, Лермонтова и других взрослых классиков. Причём не только пересказывала, мы с ней разыгрывали сцены из произведений. Как сейчас помню: я собираю на лугу цветы, кладу их в подол платья и декламирую монолог Офелии, поднося цветы то бабушке, исполняющей роль королевы, то воображаемым королю и Лаэрту:

Вот розмарин, для памяти; прошу тебя, люби,

помни: а это анютины глазки, они, чтобы мечтать...

(Королю) Для вас фенхель и водосбор...

(Королеве): А это рута для вас; и тут ещё немного для меня, ведь мы можем звать её букетом воскресной благодати.

Только вашу руту вы должны носить не так, как прежде.

Это нивяник... А ещё я хотела подарить вам фиалки

Причём мы с бабушкой выяснили в библиотеке, что такое нивяник. Оказалось, это садовая ромашка, но для моего представления сходила и луговая. С остальными цветами тоже разобрались, но, если на месте нужных не находили, заменяли другими. Это была моя любимая роль. Я исполняла её почти каждый раз, во время прогулок по лугу и лесным опушкам, которые мы совершали с бабушкой на даче в тёплое время года чуть ли не ежедневно. Иногда я заканчивала монолог со слезами на глазах, а иногда, когда я спотыкалась и неловко падала, кидала в бабушку цветы или делала ещё что-то несуразное, на нас нападал такой смех, что скулы сводило, и мы падали в траву, дрыгая пятками. По окончании удачной сцены бабуля аплодировала, а я делала поклон и получала от неё опять же букет цветов. Любовь бабушки к драматургии объяснялась тем, что в молодости она играла

в самодеятельном театре, причём спектакли на революционные темы она забыла напрочь, а классику помнила всю жизнь. Бабушка как-то обмолвилась, что мечтала стать актрисой, но вышла замуж за военного, с которым колесила по гарнизоном, растя трёх детей, и об актёрской профессии пришлось забыть. Однажды после такого представления бабушка произнесла торжественным голосом, как будто исполняя роль королевы: «А теперь, внучка, когда ты выросла и можешь понять серьёзные вещи (*замечу, трагедии Шекспира, в бабушкином восприятии были, наверное, несерьёзными вещами*), я тебе расскажу историю, которая передавалась в семье твоего дедушки из поколения в поколение». У меня дух захватило от такой таинственности. Оказывается, у нас в семье хранится сделанный бабушкой ещё в молодости перевод с немецкого языка старого-престарого письма от моей прапрапрабабушки-немки Шарлотты Кёстер (до сих пор не выяснила, сколько надо писать этих *пра*). Подлинник сама бабушка не видела, да и копия пропала в квартире во время войны, когда там жили посторонние люди. Найти подлинник я уже не могла. Дедушка умер задолго до моего рождения от последствий ранений, полученных на войне. Братьев и сестёр у него не было, а с остальной его роднёй связи были потеряны в годы революции и репрессий.

В тот день бабушка рассказала мне историю, изложенную в письме, по памяти. Когда мы вернулись осенью с дачи домой, она достала листочек пожелтевшей бумаги и зачитала мне текст письма. После этого я читала его неоднократно сначала с бабушкой, а после её смерти одна. Бабушка умерла рано, и мне её не хватало всю жизнь. Это был единственный предмет памяти, где остались строчки, написанные рукой любящей меня необыкновенной, чудной и дорогой мне бабушки. В тот день после моего представления бабуля вручила мне букетик из мелких придорожных малиновых цветочков с резными листьями. Я принесла его домой, но не поставила в вазочку, как обычно делала, а засушила в своей тетрадке, где рисовала иллюстрации к бабушкиным историям. И хотя тетрадка и цветок не сохранились, до сих пор, встречая на обочине дороги эти цветочки, я вспоминаю и бабулю, и наши спектакли,

и безумную Офелию, и эту таинственную историю, настолько замечательную и необычную, что я, наконец, решила её опубликовать.

Подлинность событий, описанных в ней, мне так и не удалось проверить. Остаётся одно из двух: или наша родственница Шарлотта Кёстер, написавшая письмо, выдумала эту сказку, может быть, просто для того, чтобы потомки не забыли её, или в официальной хронике просто не отразились эти события, потому что их не смогли объяснить, или они не попадали под представления о церковных чудесах, и память о них была запрещена. Разумом я склонялась к первому варианту, а в тайниках души надеялась на второй. Ниже я привожу текст письма Кёстер, напоминая, что в переводе моей бабули, от которой, как вы понимаете, можно было ожидать и долю фантазии.

Письмо Шарлотты Кёстер

Я хочу записать эту историю для вас, мои внуки, живущие в далёкой и суровой России. Я вас никогда не видела, а только знаю по письмам. Я уж и не знаю, где будут жить мои правнуки, но надеюсь, детки, что все вы прочтёте мою историю, её я слышала от своей бабушки по матери. Она рассказывала мне её каждый раз, когда мы к ней приезжали, но это было ещё в раннем детстве, и многое я могла неправильно понять и запомнить. У бабушки в гостях мне очень нравилось. Особенный восторг у меня вызывали настенные часы, которые били время каждый час. Ещё у неё был очень милый котик, с которым я любила играть в мышку на ниточке, огромный попугай, говорящий на трёх языках, который всё время спрашивал: «Кто это тут напроказничал? Кто это тут бегаёт?». А сколько у неё хранилось старинных причудливых предметов, украшений и нарядов, в которых я любила копаться! Я была такая егоза, буквально носилась по дому со своими куклами и кузенами и слушала бабушкины рассказы вполуха, а теперь жалею о своей невнимательности. Буду рассказывать только то, что помню. Хотя уже сомневаюсь, а не заполняю ли я пробелы в памяти своей фантазией. События эти

происходили во времена бабушкиной молодости. Поэтому, если я буду называть её в своём рассказе бабушкой, вы будете представлять её старушкой, а в начале рассказа она была почти девочкой, поэтому я расскажу вам её историю от первого лица, так как я её слышала и запомнила. Итак, приступим к рассказу Аделины, так её звали.

Рассказ Аделины

Я была сиротой и жила с дедушкой и бабушкой на окраине небольшого городка. Весь город можно было обойти, не спеша, меньше, чем за час. У дедушки очень хорошо получалось выращивать цветы: розы, лилии, сирень, нарциссы, маргаритки, жасмин и модные тогда тюльпаны. До него никто никогда у нас не продавал цветы. Он стал дарить их знатным дамам, дамы привыкли к букетам, и у него стали их покупать, в городе вошло в обычай дарить дамам и девицам цветы. К свадьбам, именинам жены градоправителя, на троицу у нас были особенно большие заказы. Каждый день я составляла маленькие и большие букеты, и дедушка отвозил меня на торговую площадь, где у нас было своё место. Дорогие букеты я заворачивала в кружевные салфетки, которые сама же вязала зимой, а дешёвые – в листья мать-и-мачехи.

Однажды ко мне подъехала молодая дама верхом на коне. Впрочем, приглядевшись, я поняла, что она и не так уж молодая, по моим представлениям: ей было уже лет тридцать. Дама была маленького роста и очень изящна. Одета она была в хорошо скроенное платье и была без сопровождения, что было очень странно. Я загляделась на её красивые золотистые локоны, ниспадавшие по плечам, и ответила невпопад на её вопрос о названии цветов. Мы обе засмеялись. Дама купила у меня букет ирисов и мне же их подарила. Надо сказать, что мне никто никогда не дарил цветов. Может быть, поэтому, а, может быть, потому что у неё была очень хорошая улыбка и добрые глаза, она мне понравилась ещё в первые минуты знакомства.

Она поинтересовалась, где можно переночевать в нашем городе, чтобы место было приличное и тихое. Я сразу

предложила свой дом, хотя никто никогда у нас раньше не останавливался. Мы договорились, что, как только я продам цветы, мы отправимся к нам домой. Дама, к моему удивлению, предложила помочь мне продать цветы. Букеты разошлись очень быстро, и Елена – так звали даму, – помогла мне усесться на коня рядом с собой. Сколько было для меня тогда впечатлений и волнений: и покачивание на коне, и взгляды горожан, и мысли о том, как отнесутся ко всему этому мои бабушка и дедушка. Они, конечно, очень удивились, и даже отнеслись настороженно к нашей посетительнице. Но потом она и им понравилась.

Самое удивительное событие произошло на утро. Елена вышла в сад на рассвете и запела. И тут случилось чудо – все растения начали расти с удивительной быстротой: бутоны сирени выросли и распускались прямо на глазах, овощи, кустарники, цветы – всё выросло как за неделю. Мы, конечно, принялись её расспрашивать, а она нам ответила, что Бог одалжил её этим даром на радость людям. Через некоторое время она выразила желание объехать окрестности и подыскать для житья симпатичный домик. Вечером она вернулась, и сказала, что покупает замок у обедневшего дворянина. Надо сказать, что замок этот был маленьким и до того обветшалым, что никто не решался его купить, а хозяин его до того разорившимся, что питался одной репкой, что выращивал вокруг замка. У нас в округе все потешались над этим господином. Мы очень удивились и даже не знали, что сказать. Она вскоре наняла мастеров, и работа закипела. Непонятно было только, куда деваться бедному дворянину, ведь его предки жили там испокон веков, но оказалось, что у него есть мечта – отправиться в дальние путешествия, так он и сделал, благо у него появились деньги на это, и больше мы его не видели. Пока шли восстановительные работы, Елена жила у нас, и наш сад преобразился: такого изобилия цветов мы и представить себе не могли. Растения тянулись к солнышку, наливаясь соком, завязывались бутоны, к нам слетались пчёлы, собирая сладкий нектар с цветов, аромат стоял необыкновенный, а я каждый день я отправлялась на площадь с корзинами, полными букетов цветов.

Настал момент, когда Элена заявила, что переезжает от нас. Мы хотя и ожидали этого события, всё равно огорчились, так как привязались к ней всей душой, да и разбогатели благодаря её волшебному пению. Видя наше уныние, Элена, добрая душа, предложила нам переехать к ней. Мы поселились в замке, но не как слуги, отношения у нас остались по-прежнему дружеские. Мы все занимались своим делом, тем же, что и дома, но, конечно, решающий голос был у хозяйки замка. На глазах у нас вместо заброшенного сада в стенах замка вырос новый чудесный, а уж каких только цветов у нас не было! Доходов от продаж урожая хватило, чтобы провести долгую зиму. Впрочем, у Элены были ещё средства, благодаря которым мы обустроили наш замок.

Зимними вечерами Элена играла на клавишине, а я пела песни. От моего пения ничего не выросло, но голосок у меня был чистый и нежный, и Элене нравилось моё незатейливое певческое искусство.

Элена рассказывала нам о своём детстве. Она была сирота, и воспитывали её две очень добрые старушки-родные сестры. У той и другой дети давно умерли, и они молили Бога, чтобы он послал им на воспитание хорошенького ребёнка, и вот однажды на пороге дома они нашли малютку в необыкновенно красивом платьице. Девочка сидела на крыльце и пела весёлую песенку, а вокруг раньше времени зацвели кусты роз – это и была Элена. Такую историю рассказали ей её воспитательницы. Элена почти не помнила своего раннего детства той поры, когда она ещё не жила со старушками, только смутно вспоминала чудесных дам, птичек с яркими перышками, красивые чашки на детском столике, разноцветные красивые камешки на дорожках и много цветов. Уже позже, когда Элене было лет семь и она заболела, она вновь увидела этих прекрасных дам. Они появились у неё в комнате, напоили её чудным напитком из чашки и исчезли. Но тогда у Элены был жар, и она сомневается, произошло ли это на самом деле или во сне, одно несомненно – на следующий день жар прошёл, и она вылечилась. Элена думает, что это были феи, и они-то и одарили её талантом пробуждать цветы. Когда она выросла, у неё появился ещё один волшебный дар: когда она сочиняет

песню или стихи, в руке у неё появляется драгоценный камень. Этот замок куплен и восстановлен как раз на эти драгоценные камни. Елена и мне подарила украшения из сапфира и жемчуга, сотворённого её стихами. Им позавидовала бы и сама жена бургомистра.

Так прошла зима, вновь зацвели деревья в нашем саду, Елена пела и пела на радость нам, себе и всему живому. Даже певчих птиц собралось в нашем саду больше, чем где-либо.

Однажды в нашем городе случилось важное событие. Город должен был посетить принц из соседнего государства. Мы тогда не знали зачем, а оказалось, его заинтересовал обычай наших горожан дарить друг другу в подарок цветы, чего у них не было, и он хотел посмотреть, как всё на самом деле происходит. Весь город стал готовиться к его приезду: все улицы, площади и дворы чистили, мостовые, стены домов мыли, выставляли на окнах ящики с цветами. Женщины готовили наряды, и мы с Эленой тоже сшили себе платья: Елена – нежно-голубое из самой лёгкой шёлковой материи, а я – белое, не такое роскошное, но очень милое и нарядное, какое носили богатые барышни нашего городка.

В день приезда принца мы подготовили необыкновенно красивые букеты и отправились на площадь: я на повозке, а Елена верхом – продавать букеты. Нас уже ждали, и мы сразу почти всё продали. Конечно, себе мы оставили два самых красивых букетика и стали ждать принца. Но его всё не было. Мы решили посидеть на лавочке бульвара. Неожиданно к нам подошёл мужчина, по одежде было видно, что он дворянин и, возможно, аристократ, одежда его была хотя и очень скромная, но из дорогой материи, и во всех его манерах читалось благородство. Он восхитился нашими букетами и спросил, где можно купить цветы. У нас осталось два непроданных букета, и мы любезно предложили ему выбрать букет, что он и сделал, а потом сказал, что дарит их самым красивым дамам этого города, и подарил их Элене и мне. Я была польщена, уже во второй раз мне дарили букет, который я же и продавала, и это был первый букет, подаренный мужчиной. Мы представились друг другу. Он был просто путником, следующим через наш город. Мы любезно предложили ему, когда он

найдёт место для ночлега, зайти к нам в гости и посмотреть наш чудесный сад, и Элена подарила ему свой букет. Потом мы дождались свиты, но принца там не было, и я подарила букет тому, кто показался главным среди них. Нам сказали, что принц уже в городе, и Элена сразу сказала, что она знает, как он выглядит. На следующий день наш новый знакомый навестил нас, он по-прежнему был скромно одет, но Элена сказала, что знает его секрет, и ему ничего не оставалось, как признаться, что он то и есть принц. Почему-то я думала, что принцы красивее и юнее, и поэтому в отличие от Элены и не догадывалась, кто он такой.

Принц стал посещать наш замок каждый день. Они отправлялись с Эленой на прогулки верхом и пешком. Элена играла на клавесине и пела. Она ходила в своих нарядах, не похожих на те, что носили наши модницы. Её платья из тонких тканей были не пышными по тогдашней моде, а были лёгкими и изящными. Они развевались на ветру, и были похожи на поток реки или на бегущие облака, а в дождь, когда она однажды промокла, платье плотно облегло её фигуру, и она показалась нам самой совершенной женщиной на свете, словно древняя богиня. Принц совсем потерял голову от нашей волшебницы. Бабушка моя вздыхала и говорила, что это до добра не доведёт, дедушка молчал, а я откровенно завидовала, потому что мне тоже хотелось любить и быть любимой.

Однажды нам поступил заказ на цветы, овощи и фрукты для праздника в одном из замков, добираться до него по дороге было далеко, а по реке – совсем близко. Но у нас не было лодки, и Элена предложила нанять лодочника. Неожиданно принц вызвался быть гребцом на нашей лодке. Мы поплыли. Представляете, как я себя чувствовала – почти королевой, ведь моим гребцом был сам принц. Правда, он просил на месте ничего не говорить о себе и даже предупредил, что в замок заходить не будет. Пока мы плыли, радовались и смеялись, я думала, что плыву в лодке любви самых прекрасных людей на свете. Элена тогда называла меня младшей сестрой, и я была счастлива.

Всему приходит своё время. Принц загостился в нашем городе, и ему пришлось отправиться вместе со свитой на свою родину. Он искренне любил Элену, или мы так думали, но дома у принца были жена и двое детей. Я была удивлена, мне было сложно принять эту новость. Но как сказал принц, его брак был династическим, и они с женой не любят друг друга совсем. Уезжая, принц обещал вернуться к Элене, как только дети вырастут. Он обещал остаться жить с ней как простой человек. Я его не провожала, я осталась с Эленой, бледной как смерть. Она сказала, что её сердце опустилось в полную мглу. Такой мрачной я её никогда не видела.

Шли дни разлуки, каждый день Элена сочиняла стихи и песни и посвящала их принцу, на моих глазах появлялись драгоценные камни, в комнате лежал уже целый сундук камней. Мне было дано от Элены хорошее приданое, к тому же у нас скопились средства от аренды нашего домика. Так что я стала богатой невестой. Я вышла замуж за сына бургомистра, и поверьте, он меня полюбил не за приданое, но если б не Элена, я бы никогда не стала знатной дамой. Я покинула замок, потом умер мой дедушка, а бабушка переехала ко мне, чтобы помогать смотреть за детьми.

Элена жила со служанкой. Её посещали интересные господа, понимающие толк в искусстве, они музицировали, говорили на важные темы. Когда я навещала Элену, находила её в саду, она пела, а сад зарастал розами. Когда к ней приходили за цветами, она с удовольствием раздавала их бесплатно. А принц? Он писал всё реже и реже, а потом мы узнали, что его жена умерла, мы думали, что он вот-вот он приедет к Элене. Она была в полном смятении, так как не могла понять, любит ли её ещё принц, но через два года до нас дошли вести, что он женился вновь. Элена долго плакала, а мы советовали ей выйти замуж. Многие из нашего города не отказались бы жениться на такой богатой женщине, но она сказала, что вместе со слезами её камни превратились в прах, а сердце её похоже на острый осколок льда.

Она села на коня и ускакала неведомо куда, замок её за один день покрылся плющом, хмелем и вьюнками, а сад зарос шиповником, так что пройти к дому невозможно,

пытались прорубить проход, но он зарастал мгновенно. Из-за стен ограды замка было видно, что и сам он разрушается. Так и остался он разрушенным как напоминание об обманутых надеждах. Элену больше я не видела и ничего не слышала о ней. Прощаясь со мной, она призналась, что сама не знает, в какие края отправится. На родине её никто не ждал, её воспитательницы давно умерли, а имением завладел племянник старушек. Единственный человек, который её любил в том краю, погиб много лет назад. Именно от этого горя она и покинула имение старушек. «Может быть, я найду своих фей, – сказала она на прощание, – тогда я дам тебе знак».

Однажды, когда мой маленький ребёнок болел, и я была в отчаянии, не зная, как вылечить его, в комнату неслышно вошла прекрасная дама, распространяя неповторимый запах духов, поставила флакончик на стол и ушла. Я вспомнила рассказ Элены о её чудесном выздоровлении, дала ребёнку микстуру из флакончика, и он выздоровел, но я была тогда в таком сонном состоянии, такой уставшей и измученной, что и не знаю, что думать. Был ли это знак от Элены? Не приснилось ли мне это? Во всяком случае, флакон на утро я не нашла. Но чудесный аромат от прихода прекрасной дамы я помню до сих пор и ничего подобного ему я в жизни не встречала. Все прошедшие годы меня согревала мысль, что Елена нашла своих фей, и они не оставили её в беде.

На этом письмо заканчивается, Шарлотта Кёстер ничего не рассказывает о себе, кроме коротких воспоминаний о посещениях дома бабушки Аделины, видимо были другие письма, которые до моего дедушки не дошли, и я даже не знаю, в каком городе и в какое время происходили события, о каком принце идёт речь. Но когда я нуждаюсь в поддержке, невольно обращаюсь за помощью к волшебнице Элене, и мне кажется, она стала феей и подсказывает правильное решение прапраправнучке своей названной сестры Аделины.

БАХТИЯР АМИНИ
Дюссельдорф

*

Антарктида –
столица твоего сердца.
А я ждать умею.
Во дворе
Всемирное Потепление.

*

бессилен
закон Ньютона
всё ещё в небе
осколки
разбитой мечты

*

Лейле

я иду на звук солнца
я иду на шум звёзд
и дойду
до твоей постели
туда,
где Бог
забыл себя

*

цветочный круговорот
в цветах покоится нежность
в нежности – любовь
в любви – жизнь
в жизни – цветы...

*

закрой
шкатулочку памяти своей
на замок
и ключ выбрось
в море забвения
так тебе спокойнее
жить...

*

Ну и что,
что выкинула меня из головы,
смыла с тела,
похоронила
где-то вне сердца?
А я стал воздухом.
С воздухом
что будешь делать?

*

на сутки
дай мне взаймы
свою счастливую улыбку:
едут в гости ко мне
родители

*

на кладбище сердца
мы живых хороним
иногда откопаем
и заново хороним
но окончательно они
умирают с нами...

*

Самый лучший друг –
Одиночество.
Самый лучший слушатель –
Тишина.
Самый лучший голос,
когда Одиночество
разговаривает языком Тишины.

*

Какие глупые
сумасшедшие мысли
иногда
приходят в голову:
Позвать к себе в гости Солнце
или подружиться
с Луной...
И как хорошо
что кроме тебя самого
нет другого свидетеля...

*

Вот мы сидим:
Я и Одиночество, –
и пьём вино вдвоём.
Мы уже почти пьяны,
и Одиночество кричит:
– Надоело!!!
я спрашиваю:
– Что?
В ответ:
– Твоё одиночество.

*

Здесь
нет вопросов
здесь вопросы
умирают не родившись
здесь коллективная могила вопросов

и надгробие над ней:

«Спасите вопросы!»

ОЛЬГА АНДРЕЕВА
Ростов-на-Дону

На пляже имени жары
нас доставали комары,
потом созрела мушмула
познания добра и зла,

стриптиз каштанов групповой –
внезапный, среди бела дня –
идёшь, рискуя головой,
а за рекой горит стерня,

мне позвонил болтливый дождь
о том, что завтра он придёт
и блажь земли повергнет в дрожь
до зеркала подземных вод,

на кухнях синих облаков
кипят котлы, гремит ведро
с парным домашним молоком
священных пальмовых коров.

О ПЕРЕИМЕНОВАНИЯХ

Я превращаюсь в шар,
Пепп Пеппович, привет.
Я тоже торможу,
но интернет – сильнее.
Смущается душа –
для Бога мёртвых нет,
но быть живым вполне
никто почти не смеет.

А Куршская коса – не Курская дуга,
и Кранц-Зеленоградск,
и Роминтская пуща –
на внутреннем витке спирали ДНК –
конвой брусчатых трасс,
топоним стерегущий.

Нам новая война меняет имена,
меняет соль и суть, подложку и основу,
и лишь Луна – полна, верна и влюблена,
оправдывает боль завравшегося слова.

И стынут в янтаре обломки, присмирив.
А нам не привыкать – в одной отдельно взятой.
Гора упала с плеч – нет жалости к горе.
Не оглянись, Орфей! – увидишь сорок пятый...

бесстрашным по зубам
разумным по пайку
надменным
чемодан вокзал европа
а воз и ныне там
и на моём веку
не будет нам
ни бури ни потопа

ни новых ковчегов революций
а только труд неравный до слезы

они над нами даже не смеются
а что смешного в бляенье козы

то хлопья то крупа
то пыль то колкий снег
вдоль строгих трасс
деревья ходят строем
обидно но – толпа
сомнений точка нет
влюблённости
в неяркого героя

стихи бездомны в электронной книге
им нужен том страница переплёт

мне нужен транс но без шизофрении
не компрене тошнит знобит пройдёт

веселие руси есть пити –
не тяну
работаю сиделкой
в интернете
не спят чтобы писать
читают чтоб уснуть
нас много
для вселенной мёртвых нету

они кричат любая власть от бога
поёжившись выстреливает зонт
и ромбик знака главная дорога
уже готовит новый эпизод

Русский носится в воздухе, можно ему не учить,
сам привьётся, и цепкие корни уже не отпустят,
ни приставки, ни суффиксы... Утро по-русски молчит,
обжигают горшки несвятые, и строки в капусте

вдруг находят. От ветра сосульки не в виде слезы –
а назло притяженью меняют углы поворота,
но уж если Господь хорошо мне подвесил язык –
не затем ли, чтоб голос отыскивал верную ноту.

Огород не проснулся, проснулся к нему интерес,
видно, скоро весна, учащение диастол и систол.
Никаких тут чудес, хоть умри, никаких тут чудес
(да при чём тут Москва – я сейчас говорю о России).

Мне поставлен предел, окрик сверху, вердикт «неправа!»,
мне был сон – даже небо из пластика, чтоб неповадно.
Где без слов понимать перестанут – помогут слова
вспомнить всё, что казалось незыблемо и адекватно.

Аисты летают,
свесив ноги,
будто вышли в тапках,
ненадолго,
низко, так доверчиво,
тревоги –
ни малейшей,
мир и чувство долга,
чувство дома –
клянчат аистята,
червяков им тащит
да лягушек,
нежного
словесного салата
он не ест
и к рифме равнодушен,

не подвержен
массовым психозам.
Аист-аист,
принеси мне внука.
...По дрожащим
шарикам мимозы
край узнает,
щёлкающим звуком
позовёт подругу
на гнездовье –
за тринадцать тысяч
километров
вместе им...
Вы видели над Доном
влажный вечер,
в нём двоих бессмертных?

ОДНОКУРСНИКАМ

Из промёрзшего грунта,
носком сапога, как могли,
выбивали свеклу –
и швыряли трофей на подводу, –
да чего мы не делали в самые лучшие годы,
без усмешек срывая цветы на дорогах земли.
А дороги тогда были крепче,
и наш стройотряд
забивал костыли и
ворочал смолистые шпалы,
с упоением веря не в то, что вокруг говорят –
а в витальную радость, которая всё искупала.

Чайка, блин, Ливингстон
нам однажды махнула крылом –
и она не лгала, хоть и странным вираж оказался –
тут кому повезло да кого уж куда занесло –
мы наводим мосты через хаос,
выводим к вокзалам

лабиринты дорог – реконструкция в стиле *хай так* началась с перестройки – что выстроили, непонятно, но кому, как не нам, эти долгие вёрсты верстать, отвечать за упругость и прочность в беде вероятной.

ГАЛАПАГОСЫ

Неси, пустая голова,
туда, где скалы-великаны
и черепахи-острова,
рождённые из недр вулкана,
где бирюзовая вода
размывает нити Ариадны,
гуляют славные стада
невиданных и ненаглядных,

где раздувает красный шар
самец-фрегат любви навстречу,
голуболапых олушат
кальмары учат делать свечку,
в прибоях радуги игра –
захватит дух, подбросит кверху...
Да, это черепаший рай,
и в нём не место человеку,

но я недолго. Заживёт
на шее поцелуй медузы,
отпустит в безмятежье вод
та судорога (или муза) –
и справлюсь о пути назад
у желтопузой игуаны,
она и проведёт в закат
по красным отмелям песчаным.

Акация прекрасно тяжела,
цвет повторяет гроздь альвеол,
глицинии заботы и тепла
стекают с неба, ласковый Эол
несёт в дома акациевый дух –
цветок раскрыл лилейные уста,
а ты – затеплил за полночь звезду?
А Фауста вторую часть – читал?
А был ли ты в опаловых горах?

То в жар, то в холод, то в вину, то в спесь –
так от себя устанешь – в сон и в страх –
счастливый и не помнит, кто он есть,
ты слишком сложен. Видишь, сотни люстр
зажгли меж крон. Вступление звучит,
а лодочный причал, по счастью, пуст,
и лесенкой вступают скрипачи,

прорвётся скрипка – сорная трава,
как ни травы,
как воздух, как вода,
как ни крути – она таки права,
Что по реке-то блёстками – слюда?
Сазаны растеряли чешую?
На доски пирса выйдем подышать,
я на живую нитку их сошью
отточенной иглой карандаша.

Не усложняй, не хнычь – живи в раю.

ЕВГЕНИЙ КУЗЬМИН

Иерусалим

ИСТОЧНИК

рассказ

1. Псевдоантичный диалог

– Готическая литература, литература романтиков – зачастую прямой, наглый обман, – заметил Давид, журналист, с которым меня несколько минут назад познакомил в центре Иерусалима, на улице Бен-Йегуда, один мой давний знакомый, Ян. И вот сразу спор о прозе, в которой я ничего не понимаю.

– Но почему текст не должен развлекать? Банальную рутинную реальность каждый может и даже вынужден наблюдать сам – без посторонней помощи. И разве всякие художественные выдумки, беспочвенные повествования – не растянутые анекдоты? Писатель – не хронист, а сочинитель, – парировал я.

– Bravo! Оригинальная позиция. Стирается грань между любым высоким, философским нарративом с одной стороны и бульварными романами с другой. Вопрос о пользе – это главное. А ложь вредна и постыдна.

– Никогда не сомневался, что граница между мирами пролегает не здесь. Впрочем, есть ли граница? Вы замечали, что небо касается земли. Оно всегда её касалось. Небо здесь, с нами. А литераторы к нему продолжают стремиться, – ответил я, с трудом сдерживаясь от выпадов в адрес журналистики.

– Фи, какая напыщенная метафора.

– А ведь это правда. Поглядите же. Факт.

– Не в этом дело... Я считаю, время глупых баек проходит. Детство человечества закончилось. Люди превратились в серьёзных маразматиков. Строгая и лаконичная дезинформация теснит напыщенные дурашливые художества.

– А что вы думаете о Данииле Андрееве? – внезапно Ян разбил наши бесплодные препирательства. – Такая знаковая фигура... Куда там Эрнсту Теодору Амадею Гофману...

– Беспочвенность и невозможность самого вероятного возмущала даже меня, – скривился я, подметив, как передёрнуло Давида. От возмущения он, судя по всему, потерял дар речи.

– Вот, Давид, – продолжил Ян. – Кто в Израиле читает твою русскоязычную аналитику? Такие же аналитики, как представляется. Почти все мои знакомые открывают газеты ради юмористических приложений, колонок.... Пожалуй, есть ещё просто азартные люди. Политика в чём-то сродни футболу. Команды, болельщики, крики, эмоции. Возможность поорать, оправдание для оскорблений. Но если система работает, в этом нет никакого смысла для самой политики как таковой. Задача каждого проголосовать за партию, которая отстаивает шкурные интересы данного конкретного избирателя. Всё.

– Я не согласен! – побагровел Давид.

– Тихо, тихо, – поспешил Ян. – Я не спорю, Боже упаси. И не настаиваю. Пусть аналитика важна. Это так. Тебе она точно важна. Мне хочется сказать о другом. Даниил Андреев указал множеству советских людей путь. Ведь так? А кого воспитывают газетные статьи?

– Жалкие совки, – презрительно выдавил Давид.

– Даниил Андреев описывает астральный мир, иными словами, мир чувств, эмоций. Там действуют законы, отличающиеся от привычных нам на материальном уровне, – вырвалось у меня. Хотя ещё минуту назад я о таком и не помышлял.

– Саша, я полностью согласен, – поддержал меня Ян. – Хочу лишь рассказать вам историю, услышанную от... одного человека. Это не мой вымысел, не плод моей фантазии. Память привередлива, но постараюсь соблюсти точность. Мне трудно принять многие детали, многие факты, но основа звучит правдоподобно.

2. Рассказ Яна. Первая часть

Не хочу называть имя человека, с которым всё это случилось... Маленький город, маленькая страна... Саша, прости, назову его в твою честь, но, конечно, имя у героя другое. Ты меня поддержал в беседе и заслужил...

Александр – странный тип... Впрочем, типично странный.

Здесь таких много. Люди, внезапно оказавшиеся в непривычной и довольно брутальной среде. Он любит одиноко бродить по каким-то лесным тропам, хотя до сумасшествия боится змей... Как-то он забрёл в Эйн Лаван. Вы, конечно, знаете такое место. Прямо под Иерусалимом. Можно легко и быстро выйти туда из иерусалимских районов Кирьят Йовель и Кирьят Менахем. Легко туда попасть из слившегося с городом поселения Ора. Практически часть нашего полиса... а уже лес, довольно дикое место, едва заметные руины деревни. Сегодня там всё облагородили, сделали подобие заповедника, провели хорошую дорогу со стороны Кирьят Йовеля. Но ещё совсем недавно место было диковатым, не все любят ходить пешком, а рисковать машиной, добираясь разбитой проселочной дорогой – это для ограниченного числа людей. Саша часто туда ходил, стоял, размышлял, рвал миндаль и возвращался домой. Суровый лес на горе, резко очерченная узкая долина внизу – рай для мечтателя.

Вода. Само название, понятное дело, значит «белый источник». Сегодня там обустроено несколько небольших купален. Раньше же дело ограничивалось едва заметным ручейком, уходящим под землю и небольшим старым, обложенным камнями резервуаром. Там ещё красовалась вывеска, запрещающая погружаться в воду.

Боящийся гадов Александр игнорировал источник. Но однажды весной, после дождливой зимы, в жаркий день, влага казалась непреодолимо привлекательной. Как-то внезапно вспомнилось где-то услышанная реплика о том, что змеи никогда не кусаются в воде. Верно ли это? Кто знает! Часто мы верим в удобные нам утверждения.

Саша обнажился и погрузился в источник. Удивительная, приятная прохлада радовало тело. Но сидение в этом небольшом прямоугольнике быстро надоело, – пора выходить... Нога застряла, словно её кто-то схватил, – отчаянный ужас... нога двинулась, но страх заставил обернуться. Позади стояла ослепительно красивая женщина лет двадцати пяти, – непонятно, как Саша мог её не заметить раньше в маленьком, тесном бассейне:

– Прости мне эту глупую выходку. Ты заберёшь меня отсюда?

Саша крикнул от неожиданности:

– Ты прекрасна. С тобой хоть на край света.

– Не ты со мной, а я с тобой. Так уж это всё устроено...

Ловеласом Саша не был, он – жуткий увалень-голем, по сравнению с которым любой медведь – звезда балета. В нормальной ситуации он бы возжелал женщину, но из-за смущения быстро бы с ней распрощался. Здесь же вышло иначе. Ослепительная дама его ослепила, заставила забыть все комплексы:

– Я снимаю квартиру с соседями. Но не проблема договориться, можно будет переночевать в салоне-гостиной. Подвезти не получится, если ты об этом. Я пришёл сюда пешком.

– Мне нужно лишь внимание, – со смущённым взглядом сказала женщина. – Слушай меня.

– И понимай? – несмотря на стыдливость пошутил Саша.

– А сможешь? – зазвенел смехом ответ.

– Постараюсь.

– Не пытайся. Нельзя угадывать в том случае, если ждут, что ты самостоятельно и уверенно приведёшь человека к решению, которое этим человеком ещё не принято, но будет скоро принято независимо от твоих действий.

3. Интермедия

Ян посмотрел на часы:

– Ой, я не могу продолжать. Простите. Дела. Мы всё равно встретимся в этом самом месте в это время через неделю, у каждого из нас в центре те же дела, связанные с нашими работами? Тогда я завершу повествование.

Так мы разошлись. А я всё размышлял, чем бы история могла закончиться? Ясно, конец истории человека – это лишь смерть. Впрочем, конец ли? Хотелось бы верить... Сведёт ли Ян всё дело к литературной банальности? На него не похоже. А так логично вообразить обыденность литературной химеры, – познакомились, любовь-морковь, брак... а тёща и вариации на тему «Крейцеровой сонаты» уже за кадром.

Иногда мне снились продолжения. Помню как-то смутно долгий обмен любезностями между Сашей и дамой.

На лицах хитрые улыбки, глаза блестят, губы сближаются... внезапно девушка срывает кожу с лица, и смеётся странным красно-зелёным черепом. Саша не растерялся и тоже оголил череп. Полное взаимопонимание. Пара обнялась.

Ещё виделось. Саша с женщиной в салоне его квартиры. Любовные воркования. Между делом дама говорит: «А ты любишь яды? Яды – это так естественно для человека. Разве их создание не является общей и главной целью всей современной пищевой промышленности?».

Или. Саша пришёл ко мне в гости и сказал: «Ты видел герб миланских герцогов? Это я там нарисован. Но я не помню, какое из изображений моё, человек или змей... Поможешь разобраться?».

4. Рассказ Яна. Вторая часть

Мы встретились, как условились. Похоже, и Давид жаждал продолжения, хотя политических утверждений не ожидалось. Ян продолжил свой сказ.

Я не помню точно, на чём мы остановились. О встрече вы уже слышали? Саша позвонил соседям. Договориться не составило труда. Женщине разрешили пожить какое-то время в салоне. Вот пара отправилась пешком в город. Саша обитал в Кирыят Менахеме, – живописная дорога, однако же и недолгая. Хотелось говорить, а общую тему искать сложно. Спасали анекдоты, они – величайшее изобретение человечества. Женщина загадочно улыбалась.

– А ты где жила до этого дня? Не в лесу же? Впрочем, отвечать необязательно, – наконец Саша решился установить диалог.

- Именно в лесу. Я там родилась.
- И выросла?
- И выросла.
- Ну не хочешь говорить, не надо.
- Почему же? Я с тобой честна.
- Между тем, я даже не знаю твоего имени.
- Ты мне его ещё не дал.
- А должен?

– Как хочешь.

Сашу это развеселило. Он выдал ещё несколько анекдотов. И лишь на границе Кирьят Менахема, возле заправочной станции, попросил:

– Расскажи о себе. Ты так прекрасна... Мне не важно, откроешь ли ты правду. Я хочу слушать тебя, твой звонкий и одновременно глубокий голос.

– Знаешь, есть такой очистительный обряд, Ташлих. Возможный намёк на него находят в Библии, Книга Михея 7:18-20, хотя многие считают его поздним изобретением. Ритуал проводят в Новый Год (Рош ха-Шана), то есть перед днем покаяния, Йом Киппур, между этими днями решается судьба человека на год. Люди в открытую воду «вытряхивают грехи», высыпают крошки, иногда камни, просто трясут цицит. Я – эти грехи, упавшие в источник.

– Но ты прекрасна.

– Я знаю, человек влюблён в своё несовершенство. Ты мечтал, грезил – и я пришла к тебе.

– Пожалуйста, не рассказывай таких странных историй. Это выглядит как желание поссориться, расстаться.

– Даже желая расстаться, ты останешься со мной. Думая обо мне, ты сохранишь нашу связь. Совесть лишь ввергнет тебя в большую пучину.

Сказав это, женщина исчезла. Точнее, Саша не видел больше её «материального» облика. Но она осталась с ним навсегда.

Вот и вся история. Я не знаю, придумал ли её Саша. А если он всё видел своими глазами, можно ли это называть галлюцинацией?

– Что за безвкусная чушь! Средние века закончились. Кого сегодня занимает борьба с грехом? Тема потеряла актуальность даже для религиозного населения, – возмутился Давид. – От моих газетных всяко больше пользы.

– А мне кажется, подобные душевные метания в Средние века и превратили животных в людей... – начал было я, но осёкся, осознав по лицам, что мои слова воспринимаются как занудство.

ЕЛЕНА СЕВРЮГИНА

Мытищи

выбегаю в жизнь, почти одетта,
вот уже сквозь веки поплыла
трясогузка солнечного света,
стрекоза сезонного тепла
холод канул в прошлое, непрошен,
вслух теперь читаю по утрам
палимпсесты солнечных горошин,
меланхолизма майского коран
так ли важно, веру обнаружив,
в невод неба падая с моста,
где твой бог – внутри или снаружи –
если всё на свете – красота,
шорохи, шумы мерцанья, брызги...
видишь, обозначены едва,
наши сны – не сны уже, а смыслы,
счастьем воспалённые слова
побежим, внезапные, иные,
в этот непридуманный приют,
где фонтанов струны водяные
скрипками тончайшими поют
где примета переходит в мета
где под лёгкий вздох эльфийских крыл
время нас теряет незаметно
в миг, когда весь мир о нас забыл

отдыхаю море пальмы фиги
ветер оторвал страницу книги
тело спит в просторах гамака
с горок ребятя летит рассеянно
попами целуя дно бассейна
жизнь проста восторженна легка

только так излечивать и нужно
все недолюбви и недодружбы
недовоощенья тайных мечт
и вернуться с летом обручённой
средиземным солнцем прокопченной
в сердце прикуп козырь на уме

всё от зноя тает тает тает
но под вечер солью прорастает
похвалы хмельная пахлава
небо хрустнет звёздной карамелью...
вспомнится затридевятземелье
где-то там в затридевятземелье
чутко видит сны моя москва

памяти скромная мекка
в сердце прольётся легко
дождь на щеках человека
станет рекой
счастье проснётся в сочельник
шепотом в зимнюю ночь
скрипнут цепные качели
те что когда-то но...
и зазвенит у порога
табором громких цыган
жизни степная дорога
падает солнце к ногам
помнишь ли помнишь ли помнишь
прошлое наше скажи
время похоже на корни
вросшие в жизнь
ныне нема и бессильна
вновь обратится она
в тёмную мысль иггдрасиля
в свет скандинавского сна

быт переходит в инобытие
ты знак даёшь из памяти моей
биением часов шуршаньем мыши
и в час когда стирается бельё
и кухонное царствие моё
шумит то даже в нём тебя я слышу
в своём мирке мечтаю о другом
так проще примириться с утюгом
с горой посуды ржавчиной и пылью
и скоро жирных пятен острова
прошепчут мне сакральные слова
пока размеренные капли не забыли
отстукивать твой ритм, твой шаг... весна
на улице... как лесенка лесна
как пена пенится и кружево кружится
и клонит в тихий сон случайный чай
и в мире невозможно заскучать
когда он сам на музыку ложится
ну а пока зовут издалика
то чайник то гладильная доска
то из-под крана тусклая река...
то пены голубые облака
то кара-кумы сахара-песка
и жизнь легка
и вечером легка
на утомлённом лбу моём рука
твоя рука...

девочка ходит
по краю земного края
девочка выбирает
то ли прятки то ли качели
осторожнее здесь расщелина
не беги
лучше перевести дыхание
слышишь трамвая
железное громохание
слева тропа
до бездонного никуда
справа толпа
не ходи туда
есть же другие виды
вперёд и прямо
это я тебе начертила
слегка коряво
что здесь река синай
что гора валдай
девочка руку дай

хоть убейся а после развейся
хоть приди на побывку с войны
с проводов поглядят птицефейсы
неожиданно со стороны
раздвигая подкожные щели
где от жажды ржавеет вода
недоверчиво клювы ощерят
дескать кто вы летите куда
или вы никуда не летите
или вам равнодушно держать
обескрыленный путеводитель
по дорогам безродных держав

то ли мы то ли дело на воле
без привычных земных кандалов...

птицы певчие полюшко-поле
поголове безмозглых голов
что вам трещины жизни никчёмной
только пой трепещи «крылышкуй»
ни о чём ни о чём ни о чём не
пожалеть вам на птичьем веку
не упасть и от скуки не спиться
не познать пустоты бытия...
что ж вы фениксы мудрые птицы
не заводитесь в наших краях

лишь галдят на скрипучей скамейке
чаще с вечера реже с утра
птицефейсы мои птицефейки
то ли ко то ли бри то ли бра

застываешь у порога
забываешь время напрочь
если мельком прикоснуться
станет больно горячо
не люби другого бога
не читай молитву на ночь
ты же знаешь тех кто выше
никогда и ни о чём

эти мили или или
эти мели еле еле
засыпай проснись в апреле
или летнею порой
потому что жизнь качели
от моллюска к боттичелли
нарисуешь боттичелли
сологубовским пером

и мгновенно станет душно
и захочется остаться
и заполнится пространство
астероидной пылью
отстранённо добродушно
из угла иконостаса
поглядит твоё другое
позабывшее лицо

небо может быть землей
но высокой
небо может стать золой
и осокой
жаль что смотрит сверху вниз
не на равных
если трудно не тянись
значит рано

значит прежде по земле
той что ниже
погуляй и не жалея
всё же ближе
и понятней и родней
поначалу
и душа других планет
не встречала

а потом взгляни наверх
кто там что там
в будни будешь землемер
по субботам
пыль отряхивай с колен
есть иное
небо к небу а земле
земляное

ЛАДА МИЛЛЕР
Монреаль

ВСЁ ОТНОСИТЕЛЬНО

Закат покажется – лови.
Пускай настоян на крови,
Но эти шуточки и штучки!
Все – относительно. Пока
Мы вместе – ходят облака
По небу. Парами. За ручки.

Река зачитана до дыр.
Ещё двояковыгнут мир,
Но в синеву макает почки
Моя акация. Она
Полна зелёного вина
До птичьей маковки.
До точки.

Раздет до пауз разговор.
Теплеют улица и взор,
А там, где стыло пепелище –
Восходит лунная трава.
Весна, конечно, не права,
Но разве правых кто-то ищет?

Как много музыки в словах.
Ночь начинается на «Ах»,
Чтобы закончиться на «Где ты?».
Я расскажу тебе секрет:
Любая ночь летит на свет,
Но слишком мало в мире света.

А потому – лови, лови!
Любая ночь летит на вие:
И пусть разлука в изголовье
Прядет невидимую нить,
Всё, что помиловать – казнить –
Надеждой. Верю. Любовью.

Вся правда – в шорохе ветвей:
Здесь каждый темен и ничей,
Но не лови меня на слове.
Среди листвы, среди огня –
Ты – относителен меня.
Я – относительна любви.

ВЕЧНОЗЕЛЁНАЯ СТРАНИЦА

Стоят сухие вечера.
Звонит, звонит комар лядащий.
Всё глуше голос топора
В душистой проволочной чаше.

Поёт незрелое вино
В крови, лишь вены приоткрою,
И снится дереву – оно –
Ещё ходячее, живое,

Ещё не кол, ещё не крест,
А только руки, только ветви,
Как будто есть на свете лес,
Где зверь непуган и приветлив,

Где оглушает тишина,
А вечность тикает и длится,
Где вся вселенная – одна
Вечнозелёная страница.

Стоят сухие вечера,
Звенит, звенит комар лядащий.
И не кончается вчера
В нерукотворном настоящем.

ТАК НАЧИНАЮТСЯ СОКОЛЬНИКИ

Так начинаются Сокольные –
Листва, сирень, слепая ласточка,
Когда встречаются невольники,
На небе вспыхивает лампочка –

Разряд, гроза, озноб шиповника,
Сирень отбрасывает платице.
И в каждой розе по любовнику,
А сердце выпало. И катится.

Гроза, гроза, ещё не больно и,
Гляди – объятая стали радугой.
Так начинаются Сокольные –
Ещё в руках. И как же рады мне.

Восторг под крышами и рёбрами,
Умылось всё - от глаз, до облака,
Легко быть мудрыми и добрыми,
Когда вся жизнь – июньский обморок.

Легко упрятать всё тревоги и
Раскрасить в нежный неба радужку.
Легко дышать, пока ты трогаешь.
Как это трогательно. Надо же.

В КОТОРЫЙ РАЗ

Там – паводок.
Здесь – воздух тяжелее
Насупленных платановых бровей.
Ты говоришь: – Смелее. Не робей.
И я тебя нисколько не робею.

Наоборот.
За поворотом – ад.
Мы говорим с тобою невпопад,
Но совпадаем музыками. Ишь ты.
Единственное счастье – не спешить.
Затачивает март карандаши,
Лепечут в почках будущие вишни,

Сквозь сердце пробивается трава.
Иду по льду. Проваливаюсь. Таю.
Ты хмуришься: – Шагала бы по краю.
Шагал приносит краски и слова.

Жизнь состоит из пауз и морфем.
Пусть этот воздух выстиран и нем,
Но слава богу – выпущены птицы,
Натянута невидимая нить.
В который раз попробуй разбудить,
В который раз попробую присниться,

Приклеиться, прижаться насовсем.
Или хотя бы выдохнуть:
– Je t'aime.

ЗА ОЗЕРОМ ВСТУПИЛИ ДУХОВЫЕ

За озером вступили духовые.
Пришли слова. Забытые, простые.
Такие – что обняться и молчать.
Пролился дождь, но стало больше света,
Так вот оно какое – бабье лето –
Уносит крышу. Прыгает в кровать.

За озером налаживают скрипки.
Летят с небес кленовые улыбки,
Довязывают варежки шмели.
В моём саду – то пятница, то счастье.
Ещё чуть-чуть от осени украсть и
По яблокам задумчивым разлить,

Смешать слезу с жалейкой воробьиной
Обшарить лес, ошпариться малиной,
Набегаться, умяться, устать.
Найти ладонь. Твоей ладонью стать.
И долгий вечер – в темень и буран –
Глядеть в огонь. Настраивать орган.

НЕ СЕЙЧАС

Про боль не сегодня. Про боль не сейчас.
Пусть пух тополиный слетает на нас,
На то что могло быть иначе,
Чем этот растаявший в синей дали
Июнь. Чем распластанный в небе Дали
И в нём голубиные дачи.

Ты знаешь причины, я знаю слова,
Иглой золотою прошита листва,
Под крышей чудачит удача.
Заглянешь за небо – наивный, нагой,
И хрустнет звезда под твоею ногой,
И хижина наша заплачет.

Нахмурится туча, сожмутся виски,
Шиповник уронит свои лепестки,
В туман завернётся прохожий.
Всего-то грозы на две тысячи ватт,
Но вспыхнет на кухне недолгий закат,
Затопают счастье в прихожей.

И снова объятья сильнее кольца –
Как будто бы жизнь не имеет конца.

КОГДА СЛОВА ТЕРЯЮТ ЗВУК

Когда слова теряют звук,
Как небо кисточки и краски,
Ты понимаешь – у разлук
Свои, особенные ласки.

Скрипит простуженная дверь,
Окно застегнуто неплотно.
Я б улетела. Но теперь
Волшебники неперелётны.

Пусть непростые времена,
И удивительное – вышло
В расход.
Но дудочка одна
Ещё топорщится и дышит –

На руки песенку берёт,
Словам присваивает звуки.
И крыша задом наперёд
Летит в надежду из разлуки.

ДОЙТИ ДО ПРАВИЛЬНОГО ЗВУКА

Дойти до правильного звука,
Туда, где сосны, только б выше,
Чем эта стылая разлука,
Чем эта тающая крыша.

Где бессловесные причины
Бескомпромиссно обоюдны,
Где горбят плюшевые спины
Гористо-хвойные верблюды.

Где небо самой высшей пробы
Роняет ёлочную хрупкость,
Где ходят парами сугробы
И солнце смотрит через лупу

На нас – отважных и беспечных,
Совпавших алым и нестылым.
Где всё, что было, было, было –
Всего лишь будущая встреча.

НАДЯ ДЕЛАЛАНД
Москва

Господи я твоё животное
овча
не холодна и не горяча
не остави меня
не отвори
потерпи
потерпи мою глупость и леность
моё «купи»
на полу супермаркета
моё несмешное «дай»
побудь со мной рядом
всегда всегда
не отходи от меня
пожалуйста жди
держи меня за руку
держи держи
или за шкирку
за шарфик за воротник
полезу в розетку
шлепни но не коротни
и когда я тебя увижу выйдя на яркий свет
кинусь к тебе навстречу жмурясь и хохоча
ткнусь в тебя лбом как мой кот мол привет привет
привет ты мне скажешь привет овча

там капает вода вывязывая шнур
дрожащего стекла стекающего света
и женщина во тьме нагая от кутюр
разводит в очаге дыхание и лето

в её ресницах след цветущих фонарей
она легко поёт и ничего не плачет
я чувствую рассвет и прямо у дверей
рожаю первый луч он девочка и мальчик
ты чувствуешь рассвет как будто в глубине
молочное свече – нье и ещё на коже
и пахнет молоком и снегом и ко мне
подходит жизнь и мы похожи мы похожи

О, выправи мне слово, логопед,
пока седлает осень лисопед
и, как лиса, летит к опушке леса,
роняя листья – хрустки и сухи,
мне кажется, что я пишу стихи
(о, как ни назови их – будет лестно!).
Я всё ещё крапива красотой
осенней, засыпающей, вон той –
небесной, упоительно закатной.
Как будто бы я тоже ухожу...
Нет, еду, еду, руль я не держу,
смотри, он сам везёт меня обратно!
Впадая в прелесть лёгкого письма,
любуюсь тем, как красная тесьма
кленовой строчки прилегла уютно,
как всё совпало точно и само
всей радостью везёт меня домой,
мы едем-едем, ангелы поют нам.

Митя? Алёша? Серёжа? Валера?
я целовала его за верандой
папа его был пожарным а мама
ровно его забирала в шесть тридцать

он подарил мне жука уже мёртвый
жук был спокоен в кармане с утенком
жук был в кармане с каштаном и жёлтой
проволоккой чтобы сделать колечко
если б меня не забрали внезапно
не увезли бы на чёрное море
а в сентябре не отдали бы в школу
мы и сейчас может быть были вместе
Митя Алёша Серёжа Валера

Открываете дверь, а она там стоит босая,
говорит, запинаясь в дожде, стекающем на сандалиии:
«я играла вам на свирели, а вы не плясали,
я вам пела печальные песни, а вы не рыдали».
У неё в глазах зацветает и плодоносит
то ли вишня, то ли яблоня, то ли слива,
на глазах весна превращается в лето, в осень,
и белеют волосы холодно и красиво.
«Я играла вам на свирели» – стуча зубами,
повторяет, пока вы поите её чаем,
укрываете пледом, пытаетесь улыбаться
«я вам пела, а вы молчали, не отвечали».
Засыпает, и в тусклом свете горелой лампы
вы потом припомните, как у неё горели
щёки, волосы вились, пах невесомо ландыш,
и всё время кто-то играл на свирели.

– Понимаешь, – говорит она, наклонившись к подруге, –
он мне совсем не нравится. Абсолютно.
Ни лицо, ни фигура, ни голос. Пожалуй, голос
всё же нравится. Голос, глаза и руки.
Как у Гофмана, помнишь? – Подруга курит,
отряхая прах в жестяную банку.

– Я как будто сошла с ума, я всё время помню,
что он есть, он течёт у меня по венам, –
продолжает девушка, поминутно
открывая мессенджер, проверяя
не пришла ли весточка от того, кто
ей совсем не нравится. Абсолютно.

от посмотри приходит коронавирус
чтобы всё изменилось да обнулилось
пушкины в добровольной весенней ссылке
пишут бессмертное вешают в небе ссылки
кликни на звёздочку выпадет грусть седая
и потолстеешь безумие заеда
выйдешь потом прищуренный что китаец
жмур апокалипсиса унылый хренастрадалец
маленькой разлажаченной бабкой ёжкой
и улыбнёшься

ты думаешь я старая но нет
я древняя древнее тьмы и света
кружись фотонно-электронный след
и всё вот это
материи не нет король не гол
мы умерли но продолжаем длиться
в движе– в воображении Его
и в лицах
не то чтобы есть в слове «карантин»
какая кара берегись маразма
но снег идёт в ближайший магазин
и кто наказан

с открытыми глазами на боку
в дрожащем полусне в конце вселенной
впадая в память смертную тоску
поджав колени

Вот погляди – где заворачивается листок
дремлет гусеница (пульсирующий висок,
тонкие веки и приоткрытый рот),
спит, живёт.

Да, она маленькая, ма-лень-ка-я,
но она дышит, дышит, совсем, как я,
если её напугать, то вздрогнет, закроет рот
и умрёт.

Это декабрь, гусеница. Жизнь – гололёд в песке,
лучше не выходить, лучше спать в листке,
в свитке осеннего ветра, в углу двора,
всё, как вчера.

Мать любит дочь, форель разбивает лёд,
жизнь потихоньку движется и жуёт,
дворник в наушниках смел из угла листок
в водосток.

АЛЕКСАНДР В. БУБНОВ
Курск – Москва

ДО ГЛАДИ ТУСКЛ ЕСИ ЧАД
(да чисел к сути дал год)

я с луны
ветрам в марте вынулся

«я!» – бес луны вилял
и... вынул себя!

утро вот.
что во рту?
утро – вот что во рту!

я нем, вин кто выпил, косу каната кантовал,
еву колотил, кубик урвал –
язвил я бесово!..
себя ли взяла в руки? –
букли толок...
увела вот, накатана!..
кусок липы воткни в меня.

мал укус самим Мимассускулам!

новости:
дуб
и мачо!..
ночами будит сов он!

– огороди, дума! веду детищ...
– а тащи ножам моим организм...
– а ракам удилища тел еле тащили...
– дума Карамзина?
– гром и оммаж он, ища, тащит!
– еду девам уди!
– дорого!

я славы сип! (доподписывался)

нежен, нищ, нежу кости тел...
но взмок.
а мутит ям рок...
тут я не манежу –
неба быту молился неглиже –
нотки нет;
от ума сед,
у чуба блин жал в уме –
не мессу;
с семенем увлажнил бабу –
чудеса мутотени!
кто нежил ген? –
я!

слил омуты –
бабе нужен,
а меня тут кормят
и...
тумаком звон летит!..
сок у женщин нежен...

летел, сияя, –
следомером лечу,
чуя ребром
юмор и ром,
юмор беря у чучел,
морем оделся я
и слетел...

я лечу, чуя –
у чучел я

тут ем я, нем...
и меня метут!

я нем –
отшопили пошто меня?!

воров я славил,
а вор
проваливался во ров!

а баба крута ночами!..
чу! ...учи мачо, натурка-баба!

я тут не ради лоска.
рудименты себе на ноги дни мажут –
Ев сердец в цедре свет ужам.
индиго на небе сыт, нем...
и – дурак – солидарен тут я.

и суров,
и томил,
не жал бурю,
а на юру блажен ли
мотив о Руси?

ад.
утро молебнов злило диавола...
сед ученик,
а рыба-кит,
если пеленгом нерушим Бог,
обрыдла ментами...
(...)
и мат не мал дыр.
Бог обмишурен,
мог –
не лепил сети,
кабы раки не – чудеса лова,
и долил звон беломор туда!..

в окне Верховенский!
и клемму корон колотил,
и толок норок ум –
мелкий икс не в охре венков...

«я бесу рог вынула в дороге!..
я учила дикий икс не в охре венков!..»
она дорога – ревности дива...
видит сон вера,
города...
но в окне Верховенский!
...и кидали, чужа его род, валуны в гору
себя.

тени
дарило тепло –
тут не мал Герцен!
околоколим?!.

и тур к чему?
меч крути –
мило коло?
конец регламенту?!

толпе
тол
и рад,
и нет.

я лил семя
или лился космосом сок утрат –
семогон?

болит яма.
прямо косогор если опишу я,
ударь меня!

и не ров тиши пиши –
пиши творения немь,
радуя уши.

поил серого соком
яр памяти лобного места.

рту космосом сок я слил
или яме слил я?

СОДЕРЖАНИЕ

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Иван ЖДАНОВ	3
-------------------	---

ЮБИЛЕЙНЫЙ ТРИЛИСТНИК

Андрей ГРЯЗОВ	20
Елена ШЕЛКОВА	25
Александра ШАЛИНА	28

ПРИХОЖАЯ

Владимир ГУТКОВСКИЙ	31
Наталья БЕЛЬЧЕНКО	36
Ольга БРАГИНА	40
Юлия БЕРЕЖКО-КАМИНСКАЯ	49

БЕСЕДКА

Виктория ОСТАШ	59
Ирина ДУБРОВСКАЯ	67
Семён АБРАМОВИЧ	75
Людмила МАШКОВСКАЯ	81

КОРИДОР

Юлия ПЕТРУСЕВИЧЮТЕ	84
Сергей ШКАБАРА	91

ГОСТИНАЯ

Светлана ДИДУХ-РОМАНЕНКО	97
Ирина ДЕЖЕВА	103
Доминика ДЕМ	109

ДУЭТ

Ирина КАРПИНОС	116
Анатолий ЛЕМЫШ	126

ВЕРАНДА

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ	132
Михаил КРАСИКОВ	136
Александр ЩЕДРИНСКИЙ	141
Элина СВЕНЦИЦКАЯ	148

ОДИНОЧКА

Максим БОГДАНОВИЧ	154
Франтишек ГРУБИН	156
Борис РЫЖИЙ	157

ПОРТРЕТ В ЧЕРНОМ

Алла ПОТАПОВА	158
Светлана ИВАНОВА	162

КУХНЯ

Елена ГО	166
Инна ШИЛОВА	170
Ярослава ВАЙС	181
Алёна МИХАЛЕВИЧ	185
Анжела АРСЕНОВА	190
Ольга АНДРУС	195
Татьяна БЕРЕЗНЯК	200

КАБИНЕТ

Арсений ТАРКОВСКИЙ	204
--------------------------	-----

БИБЛИОТЕКА

Иннокентий АННЕНСКИЙ	211
Анна АХМАТОВА	217

ГОРНИЦА

Николай РУБЦОВ	223
----------------------	-----

ГАЛЕРЕЯ

Андрей КОСТИНСКИЙ	228
Сергей ГЛАВАЦКИЙ в переводах Елизаветы Радванской	236

У ОЧАГА

Евгений ДЕМЕНКО	242
Марина МАТВЕЕВА	251
Алексей РУБАН	265
Виктория КОЛТУНОВА	279

СОСЕДИ ПО ПЛАНЕТЕ

Борис ФАБРИКАНТ	294
Елена ВАДЮХИНА	302
Бахтияр АМИНИ	312
Ольга АНДРЕЕВА	316
Евгений КУЗЬМИН	323
Елена СЕВРЮГИНА	329
Лада МИЛЛЕР	335
Надя ДЕЛАЛАНД	342
Александр В. БУБНОВ	347

«КАШТАНОВИЙ БУДИНОК»

ЛІТЕРАТУРНИЙ АЛЬМАНАХ

Випуск 13

Головний редактор

Андрій Грязов

Випусковий редактор

Олена Шелкова

Редакційна колегія збірки

Сергій Главацький, Андрій Костинський

Обкладинка

Маргарита Москвічова

Верстка

Сергій Главацький

Свідоцтво про реєстрацію №86020 від 25 грудня 2007 року

Видавничий дім Дмитра Бураго

ФОП «Бураго Дмитро Сергійович»

Свідоцтво про внесення до державного реєстру

ДК № 4558 від 05.06.2013 р.

04080, Україна, м. Київ-80, а / с 41

Тел. / факс: (044) 227-38-28, 227-38-48;

e-mail: info@burago.com.ua, site: burago.com.ua